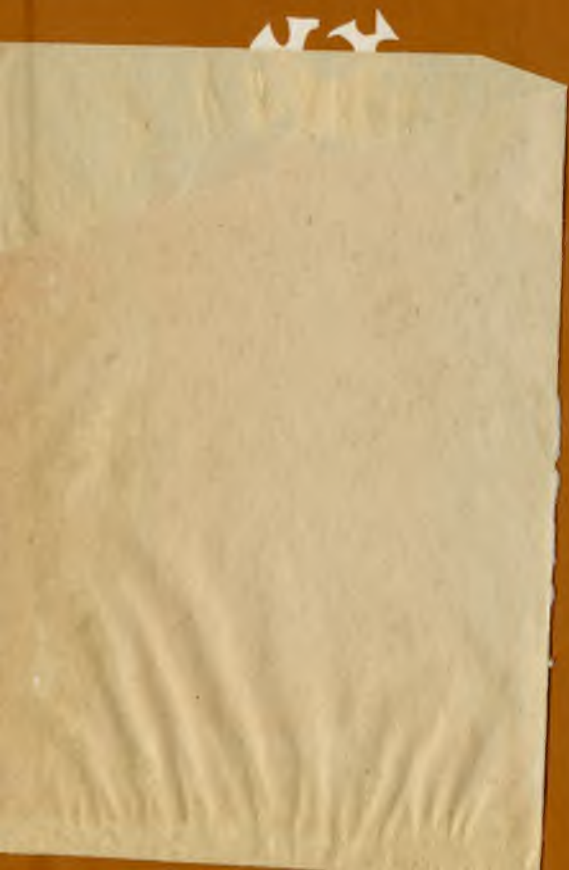


84  
B16



ВАМ,  
РОМАНТИКИ!



卷



84  
B16

# ВАМ, РОМАНТИКИ!

*Очерки,  
рассказы,  
стихи,  
легенды*



8106

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
Тюменская Правда

214

Свердловск  
Средне-Уральское  
книжное издательство  
1978

ЭК

С62  
В16

Редакционная коллегия:

Н. В. Денисов, В. Н. Клепиков,  
А. С. Кукарский, К. Я. Лагунов (от-  
ветственный редактор), Л. В. Лап-  
цуй, Г. К. Сазонов (составитель)

В  $\frac{70500-077}{M158(03)-78}$

© Средне-Уральское  
книжное издательство, 1978

Иван  
Ермаков

## ПЕТЬКИНА ТРАГЕДИЯ

Из книги  
«И был на селе  
праздник»



*Известный тюменский писатель. Из-под его пера вышло более двух десятков книг. Когда он завершал новую книгу, внезапная смерть прервала работу писателя. Главу из этой книги мы предлагаем читателю.*

На южной опушке леса, на старозалежи, примыкающей к реке Вавилон, неподалеку от Незабудковой площади начинаются соревнования по пахоте. Участвуют в них лучшие из лучших.

Микрофон называет хозяйство и фамилию, имя, отчество пахаря, выставленного на старозалежь, ставшую теперь Полем Чести.

Фамилии, фамилии... Они на слуху у народа и даже — на зрительной памяти. Черные витязи светлого хлебного поля. Их знают по снимкам в газетах, по фотографиям на Досках почета, им пело радио, они не позволяют времени и современникам молчать о себе.

И сейчас у них схватка.

Отпущено время, дано им пространство.

Схлестнутся, сшибутся сейчас во времени и в пространстве опыт, ловкость, маневр, мастерство, честолюбие, воля и нервы. Да, честолюбие и нервы. Они и у зрителей-то взбудрены, подтянуты, на «проигрыватель» поставлены... «Искра» болеет за «Искру». А в «Искре» есть ферма, откуда

ОН родом, где трудится ОН. А на ферме живет-проживает тракторная, с верхом, тележка родни. Здесь же его дом и семья. А в семье-то сыны, сыновейки, сыночки, вон и дочку жена на плечо подняла. Здесь же теща соседствует — лихим ястребом на чужие машины глядит. И всем ОН сегодня — глава. Нет, не только родне и семейству — всей «Искре» глава!

Вот так, по спирали, и нарастает он, аж до красной черты, «болевого порог» соревнования.

Если знаешь по лицам народ, то невольно отметишь такую детальку: кокуйцы сплотились с кокуйцами, «Партизан» своим партизанским станом стоит, коневцы к коневцам пробираются.

Даже «старые кадры» — сваха Власьевна и ворожея Тимофеевна, приехавшие на празднество не без тайного умысла, вынуждены на какое-то время расчмокаться и пристрянуть к своим куреням.

На старте стоят семь ярко окрашенных «Кировцев». Тихон Васильевич, не успевший распрячь и пристроить Игреньку, беседует с его полувнемлющим в чуткой дремоте ухом:

— Совершись, разыграйся здесь чудоюдие... Превратись-ка их лошадиные силы... в живых лошадей!! Да они бы землю расшибли копытами!! Слышишь, скот? Спишь ты, четверть лошади? Тыща пятьсот сорок конских подобий из плену бы выскочили... Не тебе чета, в плешь облезлому. Так заржали бы, что у господ бога всевышнего барабан-перепон в ухе лопнул бы!

Басовито, степенно, без конского баловства, на глубинных утробных октавах погромыхивают, чуть сотрясаясь, красные груди «Кировцев». У каждого на «хвосте» многокорпусная система плугов, изостренных, самозаточенных, до зеркальной шлифовки отполированных в дни посевной. На них больно смотреть. Этот блеск словно бы нетерпение, словно жажда немедленно врезаться, впитаться, вонзиться в материково-упругую твердь земли.

Пахари сидят по кабинам, ждут ракету, ждут старт. Они



в белых рубашках... забавно! «Сивые голуби», казалось бы на пожизненно отлученные от пашни, в знак былой своей доблести в комбинезоны повырядились, а эти, кому истинно в сей день пахать, даже в галстуках, в отглаженных темных костюмах, ботинки начищены, словно бы мужики к шведскому королю на прием собрались.

Такое уж светлое и высокое дело — соревнование: блюди себя, парни, на уровне. Это ведь не в ночную работать, не «втемную», а при всем-то честном, неподкупном народе — малым знаменцем засиять. Тут комбинезон — не резон... Бейся в чистой рубашке, как встарь заповедалось на Руси. Не рубашку щадить — в Поле Чести идти...

Соперники встречались и раньше. Ордена получали — друг к другу, фамилия к фамилии присматривались, на механизаторских слетах в президиумах рядышком сиживали. Даже больше сказать, дело прошлое, пиво за единым застольем потягивали. Все асы, все авторитеты, умельцы, таланты, колдуны-чернознаи железные. Про таких говорят: в одно ухо влез (в тракторную утробу), в другое вылез. Так что шапками тут закидывать некого. Некого, брат!

Перекликаются между собой. Пошучивают... Сравнивают себя с выездной концертной бригадой, сводят дело к тому, будто вся их задача — исполнить свой массовый номер, развлечь и потешить народ, взвеселить руководство — и весь «табак». Пошучивают, а потрогайте пульс... Ничего. Подождем, подождем...

Старейшая и знатная механизаторша района, сибирская вдова Куприяновна, — вот кто, пожалуй, в эти «предпусковые» минуты действительно «внутри сердца дрожит». Под вторым номером ее средний сын. Тот, которому баню вчера зверо-ростила — пару веников об себя исхлестал. Так и скакнула бы к нему шустрой ножкой: все ли ладно у малого, все ли предусмотрел? Вокруг Куприяновны — род. Три невестки, два сына еще, четырнадцать внуков и внучек, три сватья, два свата — ну не корень ли бабка? Вот когда подождли-то ее в сто свечей да со свечкою. Ведь фамильная честь на кону,

Старозалежь цветными мелками размечена, в семь загонок, рассчитанных в среднем на получас пахоты, размеряна.

— Приготовиться! — поднимает ракетницу шеф от ДОСААФ.

Здрожали, засотрясались от собственной силушки многотонные горы. В семи голосах, в семи поднапорах катков растет, накаляется до неистовства нетерпение борьбы.

Отпущено время, дано им пространство.

— Старт!! — сверкает ракета, стремительно падает долу сигнальный флажок.

И рванулись, рванулись, пошли красногрудые...

...Ночь связала по крылышкам птиц, отняла голоса, укрыла, упрятала ихние лапки в пушок. И перепел спит, и журавушка спит, только трактор-трудяга не спит. Деннонощный журавушка полюшка русского. Железные птенцы, мильонноголосые выводки из железных гнезд пятилеток — не на всех ли континентах поют они свою гордую песнь? Вдоль Нила, вдоль Инда, по джунглям, где птички колибри живут... С могучей ладони Советского Государства, с твоих десяти забронельх мозолей, Советский Народ, слетевшие. В Сахару и в сахарные тростники, к бенгальским огням и в земли аравийских песков.

Так пойте же, пойте людским племенам о вашем железном гнезде, о вашем Железном Отечестве. Скажите, что гвоздь за находку считался, скажите, подкова — дар божий была...

Еще была партия, которая помнила наизусть ленинские слова о ста тысячах тракторов для России.

...Земля под ножами плугов, словно черное масло, легко и красиво ложится в отвал. Каторжная для заступа, неподатливо тяжкая для буркиных да игренькиных плеч, сейчас она кажется детски почти беззащитной, по-щенячьи податливой. Обозначилось семь огромных «пирогов», у которых свежая

пахота — тесто, борта пирога, а старозалежь — начинка. И начинка сия на глазах уменьшается. Пожирают ее разверстые зевы стальных корпусов.

На семь станов болельщиков можно было бы разделить цветастый квадрат праздничного народа, да нельзя и не надо его разделять.

В душах людей царит праздничность, предвосхищение малого чуда, а азарт — он естествен, чист. Но дети! Невозможно не пробежаться рядом с поравнявшимся папкиным трактором, не подбодрить отца: держись, мол. Я здесь!

Тихон Васильевич по-прежнему беседует с лошадьёю:

— Дремишь, скот? Довольный, что за тебя управляют-ся? Ты хоть бы должность члена судей исполнял. Качество вспашки бы хоть наблюдал...

— Качество у них — по линейке, — отзывается сосед слева. — В этом деле ребята не по собаке, а по две, пожалуй что, съели. Кому суждено победить — по скорости победит.

— Токо по скорости, — подтверждает и «сивый голубь».

— Типун бы вам на язык!! — рвет Игреньке уздцы устремившийся к пахоте конюх. — Поглядите, смотрите, чего «двойка» строгаёт, выписывает?! Словно блох ловит... Ишь, колбасит!!

С «двойкой» действительно неладно. Один из средних плугов у нее почему-то не пашет, а елозит лишь по дерну, оборачивая на свой след тощенький, толщиной в оладышек, пласт.

Крики, свист, взмахи рук, прочая сигнализация.

Петька первым сорвался на помощь отцу.

— Папка!! Пап-ка-а!! Остановись! — пронзил старозалежь отчаянный, слезный мальчишеский крик.

Через секунду Петька, обогнав трактор, стал на его пути, вскинул вверх руки: «Стой же ты, стой!»

«Двойка» остановилась. Отец, оглянувшись, сразу все понял. С одного корпуса сорван был лемех. Подносилось, ослабло, устало железо — и вот результат.

«Таилась змея роковая... таилась змея роковая...» — припомнился Петьке вдруг вещей Олег.

Припрыжками, вскидками мчался он вдоль изуродованной борозды.

«...Змея гробовая... погибель моя!» — бранился в мозгу его вещей Олег. Уткнулся Петька в пахоту, по-барсучьи сунулся носом в нее и, не щадя ногтей, начал рыть, теревить, раздирать прошитые корневищами трав неподатливые дернины-пласты. Он тихонько скулил, а на помощь ему, смяв дежурную стражу — эспэтушников в красных повязках, мчались сюда Куприяновна, три невестки и два ее сына... тринадцать внучат... три сватьи и два хромых свата... Следом кинулась ферма. За фермой подвинулась «Искра»... Словно кто-то, как встарь, подал клич: «Наших бьют! Искровцев бьют!!»

Соревнование!.. Силушка дивная!

Праздничный, разнаряженный люд, позабыв про обновки, обламывая сгоряча ноготье, лихорадочно роет горячими, нервными пальцами свежешапань, парные отвалы земли. Да и роет-то попусту. Где схоронился лемех, сама борозда откровенно и точно указывает. Здесь его и вытаскивают Куприяновна с Петькою. Они прицельно определились на местности.

— Держи! — заполошно сверкая румянцами, протягивает сыну лемех старая механизаторша.

— Поздно, мать, — отрешенно, устало и виновато улыбается сын. — Оставь. Сама знаешь... не надышишься...

— А и впрямь, — соглашается мать. — Эка дура я стала... горячая.

— Двойка ты, и больше никто! — кричит Петька отцу и, чумазый, в слезах бежит прочь вдоль примолкшей отцовской загонки.

А шесть красногрудых все больше сжимают грудью свое заповедное поле...

За пахоту учреждалось три премии.

Так и присуждены: ПЫЛЕСОС, ЭЛЕКТРОСАМОВАР, ЭЛЕКТРОБРИТВА.

А на телеге, в тени, курит Тихон Васильевич. От него же разжились табачным зельем судьи и свободный люд. Сейчас небольшой перерыв. С берегов Вавилона народ движет к Незабудковой площади.

Под табачок, а еще деготьком от телеги попахивает, хорошо философствуется. Основную струю ведет конюх — подавили его, растревожили трактора.

— Жизнь пошла, мужики, с применением техники. Дров на зиму себе напилить — с применением. Бензопила и пыль всасос, всякая штучка с электричеством. Кур зимой облучаем. Бабка Васиха поросят под электрическую грелку на ночь укладывает. К свинье нейдут, поросята такие, а под грелку бегом! Взять сегодняшние премии. Пыль всосем, чай попьем, бородку с усами подмолодим — электрификация всей страны! У нас есть пастух из цыган. Молодой да красивый парнище. Но, как всякий цыган, без цветного наряда не может. По шву брюк, где у воинства канты протянуты, у него вшита замша зеленая. Пальца на три из шва выступает. Вся в лапшу, в бахрому иссеченная и измельченная. Под стать брюкам — рубахи. Одна у него вся длиннохвостыми японскими петухами разноцветчена. На другой — крокодилы и птицы египетские изгорают в огне. Так вот, носит цыган этот бакенбарды. И так он за ними ухаживает, так ухаживает! Электробритву с двумя ножами купил. Одни ножи бреют, другие рисунок волос, окантовочку под бакенбардной порослью обихаживают.

Пригонит коров на дневную дойку и ждет.

Только включили доильные установки — хватает он бритву, втыкает в розетку, и по часу в вагончике бритва гудит. Я сижу другим разом и думаю: чудно! Загляни сейчас в этот вагончик Владимир Ильич и увидь он, что в чащобе, в середине сибирских лесов цыган электричеством бреется... Удивился бы он, себе думаю, или просто сказал: «Ничего удивительного. Так оно и задумано было: электрификация всей страны... Брейтесь, брейтесь, товарищ цыган, я всего на минуточку...»

В самом центре, в кругу Незабудковой площади, разместился в людское отсутствие автопогрузчик с приподнятым к небу ковшом.

— Аттракцион с применением техники! — объявил микрофон. — Разыгрывается «приз молодой семьи». Он учрежден птицефермами района совместно с райзагсом, райкомом комсомола и утвержден многодетными матерями района. Кто изловит живьем петуха, тот получит в придачу к нему этот необыкновенный, загадочный приз! Ловите петуха! Ловите петуха!!

Среди публики, и особенно в той ее части, которой не противопоказан загс, произошло заметное оживление. Да и той ли только! Старым девам и закоренелым холостякам тоже вроде что-то забрезжилось, по стимуляторам ударило. Остальные — потешку чувят. Только где же они, петухи?

Шофер в автопогрузчике, словно сфинкс, улыбается.

А динамики, знай, нагнетают. Ажиотаж создать надобно.

— Кто изловит живьем петуха — счастливейший человек! Петух — символ бодрости, задора, оптимизма, но можно его и в суп-лапшу. Ловите петуха!! Ловите петуха!! Для вас уготован «приз молодой семьи»!

Ловить некого. Неженатые, незамужние ропщут.

Но вот загудел на коротких и длинных гудках, включил мотор автопогрузчик. Ковш его шевельнулся, поплыл вверх. По предел поднял ковш — чуть не вровень с березами. Здесь и замер. Шофер из кабины подергал-стравил две бечевки, снял с ковша затемнение — брезентовый старый чехол — и тут, ослепленные солнышком, явились народу они — петухи! С заполошным криком, с ревушкой взлетели они из ковша сперва вверх, а потом, согласно закону Ньютона, повлекло их всех вниз. В ковше они томились четверо, подобраны были все разноперые. Белый, рябенький, радужный, и один — во прах золотой! Пикировали из-под синего неба на изумленно взрепевшую публику. Вопль был такой, словно бы здесь «Кайрат» с «Араратом» сошлись. Все помешалось. Под петухов кинулись все слои населения — холо-

стые, женатые, разведенные, возмужавшие хронические второгодники, солдаты-отпускники. При таком многолюдстве, азарте петухам удалось сориентироваться и выбрать себе для посадки по круговинке нейтральной земли. В тот же миг на них бросились полчища жаждущих приза и простотаки дармовой петушатины. Капитаны местных футбольных команд — Женихайло с Михайлом — сшиблись лбами, стремясь ухватить с двух сторон рябенького. Крик, свист, улюлюканье, петушиное вопление. Один прорвал цепь и понесся, помчал беззаветно в сибирские, прямо лисячьи леса. За ним молодежь вдогон. В основном второгодники. В ус пошли... цветы жизни.

Второй петушишко, отчаявшись и смешавшись в рассудке, слепенько сунулся в комбинезоновые шароваристые штанины сибирской вдовы Куприяновны. Тут она его, касатика радужного, и оголубила. Бурные аплодисменты:

— Замуж бабу!

— Старика ей румяного призвать!

Через шесть-семь минут молодецко-девичьего гона были пойманы и представлены на соискание и остальные. Тот, который в леса устремил, того второгодник, бедняжку, под мышкой несет. Женихайло с Михайлом тоже изловили своего — разом схвачен был! Огнеперенького, на горе-злосчастье-беду его, достигнул журналист Ездаков.

— Владельцев петухов просим подняться на эстраду! — зовет микрофон.

Эстрада — большая грузовая машина с откинутым задним бортом. Приставлена лесенка. Четыре владельца мигмомментом туда взобрались, а Куприяновна совестится. Готова и петуха отпустить.

Сыновья, однако, не позволяют:

— Иди, мать, иди!.. Пахоту проиграли — на петухе на-верстаем.

Принудили, чертушки.

Стоят с петухами в руках: каковы-то вы, призы загадочные? И подносят к каждому петуху... ну, естественно, по

беленькой курочке. У курочек по голубенькой ленточке вокруг белых шеек повязано, на зобах образованы бантики...

— На обзаведение молодому хозяйству! — подают второгоднику курицу.

Второгодник такого не ожидал. Бурный смех одноклассников вихрем сметнул его с театральных подмостков. И петуха зашвырнул «жених» незадачливый.

Женихайло с Михайлом степенно и вдумчиво приняли приз. Вопрос, правда, задали:

— А к курятинке ничего кроме... не полагается?.. По стопарику бы...

Ездаков перед курочкой даже расшаркался.

У Куприяновны же рядом с вымученной улыбкой вот-вот и слезы появятся. «Приз молодой семьи»? Где-то он — ее молодой, ее Ваня? Двадцати шести лет отобрала, сгубила его охальная, наглая девка — война. Скрестил рученьки и чутко подслушивает, как проходят-гудят над его Первозданной, Живой, Спасенной Россией праздники, праздники, праздники... Близики еще слезы у народа.

Веселая птица петух, а ей плачется, вдове Куприяновне.

Затем просмотрели концерт, и переместилось празднество с Незабудковой площади в кулуары — леса. Облюбовывай каждый себе, на свой вкус, по независимой, суверенной березе или группе берез, расстилай свою щедрую целлофановую скатерть в тени, зови друга с женой, всех зови — сколько нажил то есть — наполняй им по душеприемлемую отметку бокальчики, наполняй и себе, подними и... повремени. Повремени!

Слышишь, как иволги чисто поют?

Слышишь, как сотня кукушек тебе многолетствует?

Слышишь, сынок твой, румяный и толстомясенький, возле мамкиной груди молоко, мужик, ест?

Слышишь, как душу твою навестило сейчас волнение, до боли высокое, светлое, клятвенное?



Вот тогда поднимись и скажи, негромко скажи: «За Родину, други! За Первозданную! За Родину детей наших!» И прими. Иногда не грешно.

За Куприяновниной четырехскатертной застолицей едят кур, закусывают петухами. С расстройства велела она сыновьям свой «суп-приз» зарубить. А поскольку в наличности у нее была премиальная кастрюля-скороварка, то сюда присоединились и Женихайло с Михайлом:

— Вари, бабка, и наших. Жениться раздумали — вхолостую умнем.

И никто в таком многолюдном застолье никак не приметил: нет Петьки. Петьки-то нет...

Приметил отец.

Потихоньку ушел от компании, решил пообследовать близлежащие глушняки, потайные места.

Петька нашелся в овраге. Он сидел на искривленном уродстве овражной березы один на один с тишиной, с молодым тeneвым комарьем, с привычными к его неподвижности сторожкими сороками.

Голубела рубашка, перемазанная от пупка и до ворота зebровидными полосами, снятыми с влажной, парной пахоты. На щеках, на носу, на ушах, на шее — та же самая пашня, рассоленная, разведенная горькой ребячьей слезой.

Появление отца вызвало новый приступ безутешного проголодного плача.

— Да чего ты, сынок? — положил на мальчишкины плечи тяжелую руку отец. — Стоит ли по таким пустякам...

Петька не дал ему договорить. Стряхнув отцовскую руку с плеча, вскочил и разъяренным зверенышем возрыдал на отца, затыкал по-тоненькому:

— Тебе пустяки? Тебе пустяки? Тогда и не брался бы!! Не показывался никому!.. Не умеешь лемех прикрутить, а лезешь соревноваться...

И того-то отчаянней, горестнее одолел мальчишечку плач.

— Ну кончай... Перестань... — виновато и ласково уговаривал Петьку отец. — Не последнюю весну живем. На тот

год дам тебе предварительно все ключи, все болты с контргайками — сам досмотришь, подвертишь... Да... Видно начал я, Петька, стареть. Без помощника, видишь, какие дела получаются?

— Надо было сказать... Я бы ночь не поспал...

Отец про себя улыбается: «Чудушко ты мое мазаное...»

— Пойдем, сынка. Бабушка там без тебя петуха изловила, курицу в премию дали... Ты голодный, поди?..

— Сами ешьте того петуха! Обрадовались... знатные механизаторы. Мне ребята фамилию уже сменили. «Двойкин» теперь фамилия моя...

Новый взрыв плача.

— Брось ты, брось. Слушай-ка, что на ушко шепну...

Пошептались в овраге один на один.

— Правда? — засияли у Петьки глаза.

— Честное отцовское! — подтвердил под салютом родитель. — Пойдем вон туда, к родничку, вымой руки и хрюшку... Злость у тебя очень правильная — с техникой связанная, а вот слезы совсем ни к чему.

— Они тоже... связанные!

— Худое горючее, сын. Сто процентов воды. Ну пойдем, пойдем.

Петька съел сбереженную для него петушину ногу. Старая, оказывается, тоже заметила его вольноотсутствие. Собрав куриные и петушиные косточки в газету, отправляет обратно внука в овраг:

— Брось там. Пусть лиса, либо волк, либо хорь нанюхтят. Лю-ю-юбят куриные...

«Забойтся, нет? — косится на Петьку. Одновременно обследует взглядом и меньшеньких. — Знайте, волки в овраге ведутся. Не бегайте».

Аккуратно сметает со всех четырех скатертей в одну общую грудку хлебные крошки. Крошек целая горсть. Кинуть наземь в лесу — не грешно, только следует ли на глазах-то у маленьких?

Куприяновна берет из горсти по щепоточке хлебной

мелочи и рассеивает вокруг себя. Рассеивает и приговаривает:

— Иволге. Дятлу. Голубю. Скворушке. Дедушке Филину. Поползню. Бабке Сове.

— Оставь зайчику? — запросили ее само младшенькие.

— И зайчику тоже...

Опять по щепотке пошло. Крошек много набралось — застолье огромнейшее.

— Зайчику. Ежику. Козлику дикому. Барсучонку. Лосенку. Мышонку. Волчонку...

— Волчонку не надо. Он — волк вырастет, — пояснили бабушке младшенькие.

— Оо-х... Когда еще вырастет! А сейчас пусть маненько поест. Он вырастет, и вы вырастете. Тогда и застрелите.

— Кормили, кормили, а потом сами стрелять?

— Можно и не стрелять. Пусть для сказки живет. Не будет волка в лесу, угаснет и сказка про волка. А хлебушка — пусть маненько поест. Всем сладок он — хлеб человеческий. Наш Пестря попервости тоже волком ходил. Дала я ему раз в лесу хлебушка...

И праздник кончается сказкой.



*В 1975 году окончила философский факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Живет в Тюмени, работает на электромеханическом заводе социологом. Стихи публиковались в свердловских и тюменских газетах.*

\* \* \*

Отец говорил: Светлана,  
У каждого есть Поляна.  
Она из любви и детства.  
Она сердцевинка сердца.

«Спасибо, что мы не вместе,—  
Проходит медовый месяц.  
Останься обетованной,  
Невытопанной Поляной...»

...Тогда ему снились штормы —  
Теперь ему снятся шторы.  
Не смейтесь, что плачет пьяный —  
Оплакивает Поляну.

...Не то чтоб страшился смерти.  
Не мог умереть в постели,  
А в поле пришел, упрямый:  
Грехи отпусти, Поляна!

«Я скоро приеду, мама.  
Одна. Насовсем. Так надо.  
Мне с ним хорошо и просто.  
Но... здесь не растут березы...»

И были чужими сосны.  
Бывает чужое солнце.  
Отец завещал: Светлана,  
Не потеряй Поляну.

\* \* \*

Как случилась любовь?  
Просто часто мы были вдвоем.  
Было лето, а знаете, летом!..  
Просто... схожими были во всем.  
Просто оба не верили в ЭТО.

Как пропала любовь?  
Просто часто мы были... вдвоем.  
Было лето, а знаете, летом?..  
Просто схожими были... во всем.  
Просто... оба не верили в ЭТО.

\* \* \*

— А может быть, нам все начать сначала?  
— Как здорово, что можно все сначала!  
— Ведь никогда не поздно все сначала...  
— Давай начнем сначала наконец.

Но столько раз оно звалось началом,  
И столько раз оно сбилось, начало,  
Настолько опоздало то начало,  
Что больше походило на конец.

\* \* \*

Сначала страшно,  
                                что не понимают.  
Потом решаешь,  
                                что напрасен труд.

Потом забавно,  
                        что не понимают.  
Потом боишься,  
                        что тебя поймут.

\* \* \*

И постигну не чувственность —  
  чувство,  
Вдохновенье —  
                        не вдохновенность,  
Простоту,  
                        а не упрощенность,  
Не возвышенность —  
  высоту.  
Если я от любви  
  влюбленность,  
От искусственности  
  искусство,  
От красоты красоту  
Отличать научусь.  
                        Научусь ли?



*Стихи и рассказы публиковались в журналах «Дружба народов», «Москва», «Сибирские огни», «Север», «Нева». Опубликованы сборники стихов на хантыйском языке — «Лылангик», на русском — «Снежные мелодии» и сборник рассказов «Погоня». Сейчас автор работает над рукописью нового поэтического сборника. Живет в Салехарде.*

\* \* \*

Ветер задует — река гневна,  
Страшно тогда на нее смотреть.  
Гривастые волны гонит она  
Разбиться о берег — и умереть.

Крупные брызги тверды, как дробь.  
Вздымаются из-под пластов пласты.  
Ты ли это, матушка Обь?  
Щедрая, добрая — это ль ты?

Река темнеет. Ее лицо  
Становится черным, как дно котла.  
А ветер бушует, скрутясь в кольцо,  
И все грозит разнести дотла!

Как спины чудищ, там, посреди,  
Волны фарватерные страшны.  
Тот, кто неопытен, — погоди  
Испытывать норов обской волны!

Не то, что лодке, — и кораблю  
Иному худо пришлось бы тут...  
А я ее и такой люблю —  
Пусть волны ярятся, пусть ветер лют.

Ее не раз я одолевал,  
Не раз сшибался с ней грудь на грудь,  
Не раз в поединке с ней познавал  
Ее характер.  
И свой — чуть-чуть...

Перевел с ханты Илья Фоняков

## ПАСТУХ

Взвыла вьюга в снежной стороне,  
Захозяйничала яро!  
Звезды задохнулись в вышине,  
Словно рыбы в дни загара\*.

Вот уже не видно ничего:  
Мир исчез, в метели канув.  
Стонет лес, как будто бы его  
Хлещут связками арканов.

Но не спит на пастбище пастух,  
Не сомкнет сегодня взгляда,  
Око — зорко, верен чуткий слух,  
Потому что — надо, надо...

Лютой непогоде вопреки  
Пастбище обходит молча.  
У него на поясе клыки:  
Есть медвежьи, есть и волчьи.

Много он медведей и волков  
Уложил за эти годы.

---

\* Загар — замор рыбы зимой.



Слышит он врага за сто шагов  
Сквозь гуденье непогоды.  
Подкрадешься, хищник,— не уйдешь,  
Изойдешь потоком крови:  
Наготове длинный острый нож,  
И винтовка наготове.

Вьюга, вьюга, вьюга на земле,  
Все кругом — в летящей вате.  
У огня сидящие в тепле,  
Пастуха не забывайте!

По лицу его стекает пот,  
У него сейчас — запарка;  
В скулы, в лоб холодный ветер бьет,  
А ему, представьте,— жарко...

Перевел с ханты Илья Фояков

## **ЗВЕЗДЫ**

Осень. Ясная погода.  
Ночь светла и молода.  
Я смотрю, как с небосвода  
Ты срываешься, звезда.

И летишь ко мне в ладони  
По дорожке голубой.  
Как за лыжником на склоне,  
Снег взвихрился за тобой!

Просияла, проблестела  
И, вонзившись в окоем,  
Ты погаснуть не успела —  
В сердце канула мое...

Я бродил по тропкам сонным,  
Я ночей прохладу пил,  
В сердце, настезь отворенном,  
Много звезд я накопил.

До тоски, до сладкой боли  
Их огнем обожжено,  
К дальним звездам не с того ли  
Так и тянется оно?

Мне промчаться бы однажды,  
Синей вечностью дыша,  
Утолить бы сердца жажду  
Мне из звездного ковша!

И моим словам горячим  
Все б откликнулись тогда,  
В чьем бессонном сердце зрячем  
Хоть одна живет звезда...

Перевел с ханты Илья Фояков

## ОГОНЬ

Священный,  
Всесильный,  
Божественный —  
Три слова великих,  
три имени  
ханты огню подарили.

Священный —  
недаром,  
когда без огня ты окажешься в тундре холодной,  
тебе отомстит он  
за то, что отнесся к нему без любви и почета

и дома оставил:  
за это услышишь во тьме беспросветной, как двери  
скрипят,

и смерть ледяная придет  
и потребует жертву.

Всесильный —

недаром  
огонь называют немеркнущим глазом  
матери-солнца:  
не плюй на огонь  
и ножом в него острым не тычь,—  
когда он ослепнет,  
то может от злости спалить  
и дом твой, и лес,  
и пойдет обрубить без разбору  
ветвистые кедры.

Божественный —

взглянешь на солнце:  
всего лишь как блюдо оно с переспевшей морошкой,  
но облик обманчив,  
недаром  
великою силою дарит тебя  
и великим спасеньем  
от смерти холодной  
и злобы слепой.

Три слова великих,

три имени

ханты огню подарили —

И эти слова, точно нож оселком, отточили наш ум.

Будь осторожен с огнем,

Сохрани в своей памяти

Три великие слова,

Три имени славных его.

Перевел с ханты Михаил Яснов

## ГРОМ

Гром, гром, гром —  
Сколько раз он гремел над землею,  
Сквозь грозы идя напролом?  
Бег, бег, бег —  
Сколько сотен веков вас, бегущие тучи,  
Кромсал этот гром?  
Сколько раз, как ножом,  
Протыкал ваши черные, жирные ваши,  
Налитые бездной воды животы?  
Сколько раз он на лыжах стальных низвергался  
Стремглав с высоты?  
И под ними вздымалась земля,  
Содрогались поля,  
И пьянели, ворочаясь, волны и к небу вставали горой,  
Лес, как старый нарост на березе,  
Чернел на краю горизонта и в обруч сгибался порой.  
И шершавым тынзяном накинув на крыши холодный  
поток,  
Дождь разматывал свой бесконечный,  
Нервущийся черный моток...  
Гром, гром, гром,  
Бег, бег, бег —  
Это нечисть земли исчезает в глухой глубине,  
Это свежесть и сила дыханья приходят ко мне.

Перевел с ханты Михаил Яснов

**Николай  
Смирнов**

## **ГДЕ-ТО КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ**

**Очерк**



*Свою трудовую биографию начал на свердловском заводе имени Калинина — слесарем. Окончив факультет журналистики Уральского государственного университета, стал собкором газеты «Тюменский комсомолец», затем работал на Тюменском радио. Очерки и рассказы публиковались в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Уральский следопыт», «Юность». Изданы книги очерков и рассказов «Маки в сердце», «Сквозь тайгу», «Тысяча шагов до Самотлора», «Синий бор». Живет и работает в Нижневартовске.*

Прежде чем оказаться на Самотлоре, я несколько лет строил железную дорогу Тюмень — Нижневартовск. Когда магистраль вплотную придвинулась к Самотлору, решил испытать себя и там сменил путевой молоток на ключ монтажника.

Мне повезло: попал я в бригаду Героя Социалистического Труда бурового мастера Шакшина. Наслышан был о нем.

Внешне Шакшин показался мне бесстрастным, однотонным в закрепшей сдержанности и как бы уставшим. Начав с сорока двух тысяч метров годовой проходки, поднялся он до семидесяти двух. Бурение на Самотлор наклонно-направленное, с одного «пяточка» выдают по семь-восемь, а если с «бисом», то и двенадцать скважин. Такое их сосредоточение именуется «кустом». Не веточка, не стебелек, а именно куст.

Напарников у меня трое. Руслан Хажбигаров — звеньевой; серьезный, во всем обстоятельный Федя Саблин; третий — Альберт Крайнев, еще не сносивший флотского бушлата старший матрос противолодочного корабля, — как и я, новичок, неделей лишь опередил.

Объяснили назначение превентора. Установка — на случай газонефтяного выброса из скважины: смыкая плашки, преграждают путь разбушевавшейся стихии. От слова превентивный — «предупреждающий».

— Задача нехитрая, — ввернул звеньевой Руслан. — Бери больше, кидай дальше. Плоское тащи, круглое кати...

— Шея в мыле, сам в растворе, зато на Самотлоре, — подхватил склонившийся у лебедки бурильщик Михаил Шаталин, и в его по-кошачьи сузившихся глазах заиграли озорнинки.

Всем звеном поднялись на верх буровой; у подножия ее — озеро, давшее название месторождению. Вода в нем землистого цвета, густая и клейкая, а вокруг тихо мелеют, затягиваются мшагой озера-блюдца, озера-ладошки.

От Тюмени Самотлор северо-восточнее, в среднем течении Оби. Открыт в шестидесятых годах геофизиками партии Леонида Кабаева, а первые промысловые скважины связаны с именами Степана Повха и Геннадия Левина. Ожила, загрохотала безгласная недавно округа. Замелькало слово «Самотлор» на страницах газет, журналов, зазвучало по радио и с телеэкранов, с трибун и в правительственных кабинетах. Топонимы истолковывали его то как Мертвое озеро, то как Сердце озер. Но главная суть: Самотлор — это нефть, будущее страны.

...По прибрежной «няше» семенил куличок. Звуки птаху не пугали: привыкла к ним, да и мало пока еще звуков — куст здесь начинали новый. Предстоял монтаж противовыбросовой установки, но краном не обеспечили, и мы его ждали. Пекуче-горячечная жара, и от болотных испарений удушье. Благо, прохлаждаемся. Механик Веревкин надрылся в культбудке у рации: «Диспетчер! Диспетчер! Ты

оглох, что ли?» — пока из шумов и тресков эфира не донеслось:

— Диспетчер слушает. Это ты, Веревкин? Сказано, кран у Петрова.

— Сколько можно вольтить? — возвысил интонации механик.

— Не изволь беспокоиться: отправляю АЗИНмаш, — известил знакомый голос с соседнего куста.

— Вот удружил, Кузьмич, — вмиг подобрел, смягчился Веревкин, — а то ведь портянки сушим. В такую-то погоду! — Многозначительно подмигнул: — Слыхали, с рекордсменом толковал! Не наш брат шошка-ерошка, даст восемьдесят тысяч, не сомневайсь...

Веревкин имел в виду сообразательства бурового мастера Григория Кузьмича Петрова.

Мы спасались от жары в тени культбудки, где все так же разнобойно трещала, переговариваясь на разные лады, рация. Вот проследовал важно, чинно Веревкин. Широко расставленные под цыганскими черными бровями глаза зорко оглядывают буровую, где вахта Шаталина — четверо жилистых помбуров.

Михаил Шаталин — крупный, громоздкий, кажется, зацепит что-нибудь и свалит в тартарары. Не то чтобы рыж лицом, а неуловимо красноват. Ну, прямо-таки сияет. А может быть, это от жары, от загара? Словно раздражаясь от человеческого присутствия, утробно-глухо, натужно взрывается компрессор. Буровая раскалилась от солнца, которого было так мало в нынешнее ненастное лето, а теперь оно словно торопилось наверстать упущенное.

— Искупаемся, — кивнул звеньевой в сторону озера блюдаца.

— А если АЗИНмаш прибудет?

— Веревкин крикнет. — Хажбигаров держался с механиком подчеркнуто независимо.

Озерцо лежало в моховой чаще темное, но, странно, насквозь просматривалось. К озерцу примыкала непроточ-

ная глухая канавка, и через нее брошена доска. На другой стороне след костра, пустые банки, удилица — рыбацкое становье.

Здесь мшага обрывалась в воду, впору нырять с нее. Так и сделали. Лишь Альберт, наш матрос с противоположного корабля, взошел на доску и, подпрыгнув, скользнул в воду. Среди тонких прямых водорослей он казался рыбиной в огромном аквариуме.

Тут донесся машинный рокоток: кран пришел! Напрямую — трясина не трясина — припустили к буровой.

Вначале звеньевой, самый опытный из нас, непонятно медлил, и Веревкин едва удерживался от крепких слов. Когда терпение механика вконец истощилось, Хажбигаров воспрянул. Споро отдавал распоряжения, сновал, как челнок.

Громоздкие выкида с батареями задвижек, отсекателей приобретали компактность, стрельчатость, даже изящество по мере того как сочленялись трубы и трубки, пульта управления. Аварийный выкид в желоб красиво взметнулся, верша ансамбль, придавая ему законченность.

Хажбигаров опробовал основной пульт — в сосредоточенности необыкновенной. Для него это больше, чем просто работа, — творчество, потому и приглядывался, примеривался вначале. Веревкин понял это и не грозил лишением премии, не назидал. «У нас, как в колхозе, расписываемся за трактор, а получаем самолет», — подхваливал даже, но мы и без того старались.

Укрепили на торчавшей из земли трубе ручной превентор и над ним ПУГ — превентор универсальный, гидравлический, ПУГ — пузатый, как бочонок, а ручной превентор смотрит на мир лукавой хитрой физиономией.

Неподалеку, за сосновой гривкой, с яростным гулом сгорал попутный нефтяной газ. Сине-багровое пламя металось на ветру, истекало неудержимо, завиваясь в невообразимые вихри. От его опаляющего дыхания дымилась мшага, посохли деревья. Бушующая стихия.



Закончив монтаж, присели на трапик у пульта, разговорились, и я узнал, что большинство наших людей из Башкирии, оттуда и начальник управления — Абзалитдин Гизятуллович Исянгулов, основатель первой в Сибири конторы бурения — Шаимской. В Шаиме обходились без превенторов, пока не случился выброс. Тогда-то и обратились к противовыбросовым установкам. На Самотлоре без них никак нельзя — недра многопластовые, газовая шапка мощная и близка к поверхности. Чуть оплошай — и беда. Соответственны и требования к превенторщикам.

...Подошел Веревкин.

— Все досмотрели: фланцы, хомуты, гидравлику? Инспектор — воробей стреляный, не упустит и мелочи — задержит бурение.

— Марафет полный, — заверил Хажбигаров, прицокнув языком.

Проверка системы началась. Доселе неподвижные стрелки манометров вздрогнули, насторожились и, сорвавшись, как со старта, заспешили по белому полю приборов. Что и требовалось доказать! Мы вздохнули облегченно, воззрились на инспектора. Тот выбрался из «газика», глянул на манометры, поизучал пульт и в сопровождении механика и бурильщика отправился в культбудку подписать акт приемки монтажа.

— Домой, — помаячил из оконца вагончика Веревкин.

Мы тотчас уместились в кузове агрегата. Встречно и вдогон сломя голову мчались «Татры», МАЗы, «Уралы», «Ураганы», списанные на мирную службу ракетовозы, тракторы «Беларусь», каротажные машины, автобусы и автобуски. Чего только не было! Могучая техника страны!

Все лето строчили сытые, занудные дожди. Грязь и вода. Неделями не сбрасывали сапог-болотников. Мрачно в комнате, мрачно на улице. Неожиданно небо расчистилось, поднялось, и грязь затвердела.

В эту пору у Крайневых играли свадьбу. Избранницей Альберта стала кочегар с буровой Лида Шеломенцева. Привязала моряка к Нижневартовску, а тот мечтал о Ждановской мореходке и заграничаваниях. Свидевшись с Лидой в отпуске, не смог уже расстаться.

После регистрации — на Самотлор (такая традиция в Нижневартовске). У скважины-первооткрывательницы поздравили молодых и откупорили бутылку с шампанским. Дома у подъезда новобрачных ждала раскатанная ковровая дорожка и родители с хлебом-солью.

Шаталину — тамаде повязали через плечо вышитое полотенце. Зазвучали тосты, общие для всех и групповые, так сказать, локальные. Захмелев, вручили Феде баян, он прислонился щекой к крышке, как заправский деревенский гармонист, и развел мехи.

Устремилась в пляс лаборантка Виктория. Мало ей пола — била чечетку на столике в углу.

— Знатно! Ай, знатно! — подхлопывали ей:

Разгонись, моя телега,

Все четыре колеса...

Звеньевой Хажбигаров приспособил мотив под лезгинку, то сводя руки на груди, то расправляя их, такие выделял виражи, что не поймешь, искусство это или от темперамента. Приустав, удалился в смежную комнату. Там лаборантка-плясунья напряженным тембром выводила:

Как поздней осенью порою

Бывает день, бывает час,

Когда повеет вдруг весною...

Руслан, подсев к ней, неспроста блеснул рассуждениями:

— Музыка пробуждает во мне картины удивительные, необыкновенные... Вид на горы... Горы обрываются в море бухтой, к которой прилепилась таверна из просмоленных корабельных брусьев. Доносит гул прибоя, стук пивных кружек о дубовые столы, рыбацкие голоса... — шпарит он, не отрывая глаз от лаборантки.

Недавно прислали Хажбигарову из Малгабека кожаную тужку с литыми оловянными пуговицами, он похвастал:  
— Таких в Союзе две: у меня да у Баниониса.

Молодожены выскользнули на улицу, и Лида сказала:  
— Сегодня я так счастлива. Даже не верится...

— Судьба,— привлек, полуобнял ее Альберт.— А я почему-то детство вспомнил, поселок Бавлы, Татарию, речку Ик... И море вспомнил. Еще вернусь на «воду»,— вздохнул Альберт.

— Самотлор уже тем хорош, что не разлучит.

— А плавать можно вместе. Поваром, а? — нашелся Альберт.

— А дети появятся, тогда как? — И счастливо рассмеялась.— Целая жизнь впереди.

По улице Пионерской, где ступенчато, веером поднимались новые дома, лампы лили неоновую лунность. Усиленный динамиком голос диспетчера на автостанции сообщал:

— На куст 328, вахта Шакшина, автобус 13-15.

— На куст 329, вахта Петрова, автобус 16-40.

Город бодрствовал. Уходили на буровые и возвращались ваховые автобусы, повисали самолетные гулы, и зарево Самотлора тревожило ночное небо. Была своя нижневартовская атмосфера, свой психологический климат — хмелящий, литой, бодрый.

Все двигалось, громыхало, спешило.

В Нижневартовске жилищная проблема остра, окраины, да и не только окраины, заполняются балками, вагончиками. У нашего УБР целый городок железных коробок, раньше служивших управлению конторой. Получить вагончик или хотя бы половину непросто. По году, больше ждут.

Немудрено, что после свадьбы молодожены квартировали у родителей Альберта, но две женщины на кухне — две враждебные армии. Малейшая зазубринка искрит, накаляет атмосферу.

Как-то Альберт пришел ко мне возбужденный.

— Баста! Порвал с родителями.

В тот раз он не вышел на монтаж, и Веревкин накатал докладную начальнику цеха. Пока суд да дело, мы всем звеном разладили с механиком: потребовался кран, а его нет. И Веревкина нет, запропал. Наведались домой. Веревкин выступил из дверей квартиры благодушный, в шерстяных, домашней вязки, носках. «Как нет крана? — удивился. — Я заказывал». Поутру явился уже менее благодушный.

— Мало сделали! Я научу, как работать!

— Так не было же крана, — оправдываемся.

— А руки зачем даны, язык зачем привешан? Не могли, что ли, востребовать? — и пошло-поехало: — Лишу премии, разгону...

Глухой ветреной ночью объявился инспектор Ветвицкий, засел в культбудке. Веревкин, взвинченный, сердитый, вовсе взбеленился:

— Поторапливайтесь!

Снова «надавили» опрессовщики, снова Ветвицкий воззрился на стрелки манометров. Порядок! — все девяносто атмосфер. Но настроение испорчено. «Ухожу к Хажбигарову», — заявил Саблин (в управлении организовалась новая бригада, и механиком в нее назначили нашего Руслана). «И я уйду», — поддержал его Альберт. Мне осталось присоединиться из солидарности.

Урок подействовал. Новобранцам-превенторщикам Веревкин дал полную самостоятельность, лишь бы справлялись. Поначалу многие механики увлекались превенторами в ущерб остальному оборудованию. У нас из-за этого сожгли вал редуктора — в вахту Шаталина. Бурильщика перевели в новую бригаду, а Веревкин отделался порицанием. Но беда подстерегала его в другом.

На обледенелой бетонке вахтовый автобус занесло, метнуло на встречную громадину «Урал». Механику Веревкину со страшной силой просадило висок кронштейном у водительского кресла. Смерть наступила мгновенно.

Между тем дело о прогуле Альберта передали на цехком. В тот вечер мы ставили превентор на кусту новой бригады, и Хажбигаров принялся звонить начальнику цеха, но из мембраны приказное, властное: «Пусть является, иначе уволим». Автобус уже ушел, куст на отшибе, попутных оказий никаких. Так Альберт и не явился на цехком.

Декабрь выдался на редкость теплым. Тучи пухло нависали, дождили. После новогодья температура упала, и все вокруг затянуло белесой дымкой. Жесткая стужа проникает в легкие — не только дышать, думать трудно. Тронется трактор — гусеница пополам, поднимет кран груз — стрела переламывается, как сосулька. Оттого скатывали бурильные трубы с машин вручную.

Куст нам достался на газовой шапке. Обычно под «кондуктор» — триста-четыре метра в верхних осыпающихся породах, — бурят без превентора; на газоопасном — с двумя мощными двенадцатидюймовыми установками. Мало того, дежуришь после монтажа..

К ночи дымка обернулась легким снежком. Пропорхнул и открыл сырую занемелую землю. В вызволившейся стуже пламя факелов замерло языками. От языков протянулись, достигая звезд, плотненные лучи.

В ольделости ночи мы безмолвны, как призраки. Стоит открыть рот, тотчас жесткие спазмы перехватывают горло. У нашего нового звеньевого Федя Саблина лицо огненно-красно, а он, как когда-то в своем цехе Салаватского машзавода, в матерчатых нарукавниках поверх куртки. Въевшаяся привычка! Брюки-стеганки велики, и Федя шутит: «Чем воздушная прослойка больше, тем теплее».

От своего отца, потомственного рабочего, Федя унаследовал выдержку, степенность. Кажется умудренней, старше нас. Стажировался у знаменитого Тимошенко, внедрявшего превентора еще в Шаиме — на первом месторождении Сибири.

Случаются выбросы на Самотлоре. Уже при мне строптивый «джин» швырнул под небеса шлам — разбуренную породу: с человеческую голову летели камешки. Принялись звонить начальнику управления. Исянгулов спрашивает: «Жертвы есть?» На счастье, успели разбежаться люди, сама же буровая полыхала костром. Убил вышку пласт сеноман, в котором скапливается нефтяной газ. Теперь сеноман предстояло покорить нам.

Ну так вот о Саблине. Когда сделали монтаж, Федя лег на подогревные решета в сушилке.

— Ноги замерзли,— смущенно улыбнулся.

— Галя согреет,— не к месту ляпнул Альберт.

Не к месту потому, что Федя тотчас отправился в вагончик-столовую помочь Гале чистить картошку. Он это делает постоянно: рубит мясо, пропускает его через мясорубку.

В культбудке главный технолог Суяргулов. Сбоку буровой прилепилась газокаротажная машина: сторожит «джина». Пока спокойно, и Шаталин просит разрешения вскрыть сеноман. Главный технолог толст. Шуба, просторные валенки делают Суяргулова еще массивней. Весь силуэт главного технолога в сиротском обманном свете лампочки под потолком принимает пугающе квадратные формы.

Получив разрешение углублять скважину, бурильщик уходит, а я, дежурный по превентору, прошу технолога объяснить суть сеномана. Хабиб Абдрахманович охотно чертит вздутие — «шапку». В ней, под семисотметровой толщиной, выделившийся из нефти газ. Миллионы лет держала природная броня пленника, смирила, и вдруг — неожиданный пришелец — турбобур. Устремился «джин» вверх, да не тут-то было: давит столб раствора. Но газ проник и в раствор, облегчил его, может выметнуть из скважины. Суяргулов отправляется на мостки, где стоит дегазатор — устройство для удаления газа из раствора. Дегазатор бездействует. Его настроили, включили. Процент газа в растворе постепенно снизился, и Суяргулов успокоился. На мостках осталась ла-

борантка Виктория, поминутно измеряла температуру и удельный вес раствора, пользуясь то градусником, то ареометром. Назначение раствора многообразно. Он вращает шарошки долота, охлаждает их и предохраняет стенки скважины от осыпания... Раствор — живая кровь бурения. Вот почему так бдительно приглядывала Виктория за нескончаемой серой струйкой в желобе.

Посветлело, но звезды еще отчетливы, их круговращение пытаются сдержать иглы-блики от факелов. Завалились с Русланом в сушилке поверх спецовок и вполне довольны. Руслана поманило на разговор:

— Я стал бы мастером, закончив факультет бурения. Значит, что? Поступить сейчас на четвертый курс института — и карьера обеспечена.

Работает Хажбигаров на совесть. Сегодня ночью, когда пробравшийся в раствор газ легким хлопком выстрелил из скважины, Руслан бросился к пульту возле лебедки и закрыл превентор. Не спасовал.

...Помбуры таскают и таскают барит из-под навеса, бодрствует главный технолог в газокаротажной машине, опасность выброса еще не миновала. И так будет до конца зимы, пока не иссякнут запасы утяжелителя и разбуривание куста прекратят до навигации. Все это будет. А сейчас ласковое, ситчиковое небо. Солнце всходит.

На цехкоме сначала зачитали докладную погибшего Вевревкина, выслушали объяснения Альберта, затем Руслан Хажбигаров рассказал, как трудно привыкал к бригаде Крайнев.

— Главное, — сделал ударение Руслан, — этот парень с каждым разом все лучше и лучше.

Саблин и я поддержали Руслана. За прогулы в управлении наказывают строго — вплоть до увольнения. Тем более что эта докладная вторая. Первая появилась в пору пред-

свадебную — встреч с Лидой, гуляний до зари. Тогда решалось — быть или не быть, мореходка или Самотлор. Постепенно Альберт уверился, что Лида — его единственная, неповторимая, но к Самотлору пока оставался равнодушным, хоть тот и превзошел ожидания. Против Шаима — все равно что корабль против лодочки.

Альберт не выказывал особого рвения и в конце концов вызвал недовольство даже Хажбигарова. Руслан морщился, морщился и недвусмысленно-ультимативно как-то заявил:

— Ты думаешь работать? Так поживей... Здесь тебе не палубу драить! Выбьется малейшее звено, другие захромают. Так-то! Нячиться не станут.

— Ясно! Понял! — услышал в ответ. — Но мне нужны деньги на свадьбу. Почему лишили премии?

— Я здесь ни при чем, — крутнулся Хажбигаров. — Заключи договор, получишь подъемные — все четыре тарифа.

— Да ну?! — повеселел Альберт. — Спасение! Моряк не хнычет и не плачет никогда!

— Не плачет-то не плачет, но связываешь себя договором.

В целом наши отношения протекали нормально, дружески, особенно после свадьбы Крайнева, когда вызвали на передвижку буровой.

Перед обедом подлетела машина с брезентовым верхом, из нее выпрыгивали и, как десантники, проворно разбегались парни с нашивкой «Главтюменьнефтегаз» на рукавах. Принялись резать, сваривать, крепить. Пустили поверх буровой растяжки, чтобы не завалилась. Трактористы в кабинах — словно танкисты перед боевым броском. И сами «сотки» с вызывающе привздернутыми передками напоминали знаменитые «тридцатьчетверки».

Когда приготовления закончились, бригадир «вышкарей» прямо, как карандаш, встал на ящик из-под печенья. И расстояние-то пустяк — четыре метра, а осилить надо умеючи... Мужичок, подождав, резко опустил руки, и води-



тели выжали сцепление. Буровая нехотя двинулась по рельсам. Дело сделано.

Срезав изрядный кусок пути, промокнув от травы и кустарника, мы выбрались с Альбертом на бетонку. Молодожен торопился к Лиде, и я едва поспевал за ним.

— Настоящий марафонец,— заметил я.— Спортом, что ли, занимаешься?

— Занимался. Боксом. Одно время был чемпионом среди юношей,— не сбавил шага Альберт.

— Страшновато на ринг выходить?

— Важно первый раз не стусеваться. Меня «крестил» второразрядник, подзадорил так, что закачало. Разозлился я. Перед боем всегда старался разозлиться, тогда никакой страх не возьмет.

С Альбертом пробовал померяться Федя, он хоть и щуплый, но верткий. Альберт захватил его правую руку — блокировал, обнял за шею и с поворотом налево, вполуприсяд бросил через плечо. Владел и броском через бедро. Положил однажды здорового тракториста, отказавшегося перевезти насосно-компрессорные трубы. «Сладил, да? Сладил?! — удивился тракторист.— Как это ты?»

Печально-проемные глаза предцехкома сострадательны; начальник цеха двадцать пять лет в бурении, и его заместитель рано начал трудиться. Все трое бывалые, житейски сведущие.

— Пусть будет так, — заключили. — Надеемся, что это огрехи молодости.

Последнее слово за обвиняемым. Альберт встал, и голос слегка задрожал:

— Спасибо. Я понял, что живу среди людей.

Мудрую истину подарил Самотлор. Он — не только буровые и нефть, прежде всего отношения людей, диктуемые суровой обстановкой преодолений.

После цехкома Альберт опять к Исянгулову.

— Ну, что решили? Так! Вот теперь получишь половину вагончика.— И начальник назвал номер.

Через пару дней — новоселье. Войдя в вагончик, я увидел Крайнева-отца, с мирным домашним видом чинившего стиральную машину, — свадебный подарок. Примирение состоялось.

Привыкли уже к теплу, синеволью, как вдруг сорвалась «падера» — слякоть с ветром. Вихрь лавиной закрутил белые дожди.

Покончили наконец-то с газоопасным кустом и передвинулись к Белому озеру. На газоопасный ушел целиком железнодорожный состав барита-утяжелителя. Не однажды, укрощая «джина», смыкали плашки превентора.

На Белозерном сухо-песчаный островок посреди безбрежья вод — и никаких газопроявлений. Досадили, правда, дорожники, тянувшие бетонку, — задержали автобус. Да там-понажники припозднились с заливкой кондуктора цементом (помните, обсадные трубы в верхних хлипких породах) — оттянулся монтаж на ночь.

Засветло уже, сдав монтаж Ветвицкому, мы с Альбертом пошли прогуляться в кедровник. С нами увязались Виктория с Хажбигаровым. А Федя улизнул не в силах снести разлуку с Галей. У нее сегодня выходной.

С ветки на нас взирал бородатый ворон. Под деревом пролегла труба в подтеках застывшего битума.

— Не тот плох, кто имеет недостатки, а тот, кто мирится с ними, — ударился в рассуждения Хажбигаров. — Ты, Альберт, хочешь и можешь все исправить. Но вот... есть ли у тебя цель в жизни?

— Цель, — выразить нужно многое, и Альберт медлит. — Первое — закончить вечернюю школу и поступить в институт, дать образование Лиде. Второе — народить детей, без них в доме заводятся призраки.

— Ну а принципы жизни? — допытывает Руслан. Альберт почти параграфами:

— Физически быть сильным, честным, хозяином слова. Устал — не подавай виду, решил бросить курить — брось!

— Правильно понимаешь,— Хажбигаров благосклонен и многозначителен.— Сентименты не к лицу мужчине.

— Сентиментальный мужчина жалок, — усиливает Альберт.

— Неизвестно еще,— протестует Виктория,— не согласна! Нежность, например, что такое?

— Нежность — оно, конечно,— Альберт прячет букетик бледно-сиреневых цветочков, собранных для Лиды, а сам слегка краснеет.

Ворон повел настороженно клювом. Большого труда стоило птице удержаться на «насесте» под бешеными налетами «падеры».

— Что тебе цунами,— Альберт бросил взгляд на бородатого долгожителя.

— Кажется, что-то штормовое? — Виктория тоже посмотрела на ворона, будто в нем таился смысл сказанного.

— Цунами опасней шторма. Испытал в Петропавловске-Камчатском... Цунами, Вика, страшный водяной вал от вулканического толчка,— пояснил Альберт.— Ему следуй навстречу — прямым точным курсом, иначе швырнет на сопки. Мы ушли тогда к острову Шум-Шуму в дозор...

— Самотлор тоже цунами,— заявила Виктория.— Только здесь цунами каждый день, неспадающее.

Альберт замолчал, и мне показалось, что он соизмеряет свою жизнь на Самотлоре.

Рекомендации Альберту дали Шакшин, главный механик Самаркин, недавно выбранный освобожденным секретарем парткома, и завзятый общественник Зада Халидович Ясовеев, в давнем прошлом колхозник, солдат.

Потом штудирование Устава, Программы. Третьего октября Альберта принимали в партию на цеховом собрании. Спросили биографию, поинтересовались семьей. И он успокоился, поняв, что экзамен выдержал раньше, когда проводил дни и ночи на буровых, тряся в автобусе по бетонке, столовался на Самотлоре. Сейчас лишь выложат мнение.

Рабочие подняли руки.

— Единогласно,— резюмировал Ясовеев, чуть-чуть при-  
вздернув в улыбке верхнюю губу.

— Теперь что партком скажет, исповедуют будь здоров.

До Альберта принимали в партию делегата 17-го съезда ВЛКСМ, бурмастера комсомольско-молодежной Глебова. Его уже ждал «Уазик» под окнами, чтобы сразу в бригаду. И одет был Глебов по-походному: в сапогах-болотниках, штормовке. «Такого не принять,— подумалось Альберту.— Знаменитость».

Глебова, конечно, приняли.

Входя в просторную комнату парткома, Альберт почувствовал зыбкость пола, словно под ногами была ускользящая корабельная палуба, оперся рукой о спинку стула. В заявлении он писал: «Хочу быть активным строителем коммунизма, в авангарде рабочего класса, вооруженного учением великого Ленина», но сейчас это показалось напыщенным, ненатуральным.

— Мой дед и отец — большевики...

Глаза-полумесяцы Зады Халидовича живенько сбежались к переносице, а седеющие редкие бровки задвигались.

— Большевики... Партийная династия...

Обычно насупленный, Тимошенко благодушен, подобрешший; остальные — близкие, понимающие. С ними шагать ему! И когда Самаркин по праву секретаря поздравил, легко вздохнулось Альберту.

Вместо Хажбигарова в звене теперь Стражинский — волгарь, из Самары, как он ласково называл свой город Куйбышев. Поджарый, энергически-порывистый, он словно живет одними нервами. Любит броско, напоказ одеться, смахивает больше на студента-старшекурсника, чем на рабочего.

Он пел незнакомую нам песню «Сказка» про девушку в большом городе, и глаза его выражали печаль. Что-то томило его. В работе становился одержимым, буквально преобразался. Постоянно что-нибудь конструировал, и хоть часто проекты не воплощались, цепкость ума подкупала.

В День молодежи зазвал нас менять клапан масляного

насоса. Исправили дефект. На уровне буровой скользила луна — огромное бледное око. Вот она поравнялась с вышкой и уже с другой стороны показала краешек.

Стражинский усмехнулся:

— Озорница женщина... Все женщины озорницы, — метнул носком ботинка подвернувшийся камешек, запасмурнел.

— Не понял юмора, — сказал я.

— Все просто... Возвращается турист из-за границы, жена спрашивает: «Ну, как там?» — «Ничего, — отвечает, — официанты в ресторанах расшаркиваются. Пустячок, а приятно». — «Еще?» — любопытствует жена...

Стражинский умеет старые байки подавать со значением. На этот раз не получается, и он вяло машет рукой.

— Приелось. Скука. Ведь есть же где-то красивая жизнь.

— А наше дело! Может, оно и есть красивая жизнь. Вся штука в том, как понимать ее.

— Высокие материи, — во взгляде Стражинского дремуче-вязкое, неистребимое. — Жить хочу! В Самаре выберешься на Волгу: широко, раздольно...

Он тосковал по Большой земле, хандрил, не мог привыкнуть к ночным сполохам, гремящим круглосуточно буровым, к городу, к товарищам. С получки отправлялся в ресторан и, не считая, выбрасывал деньги. Компания при нем, и он ею повелевал. Он любил повелевать и теми, с кем работал.

Странный парень.

Однажды после монтажа предложил мне:

— Айда за брусникой.

Подсели на каротажную машину и долго тряслись, как в порожней консервной банке. Углубились в лес. На мшаге между деревьев черно-пунцовые крупнущие кисти брусники, я таких не видывал. Богат Самотлор осенью. Грибы, хоть и жиденькие, худосочные, а тоже встречаются; кедровых шишек изобилие. Но что это? Поваленный кедр. Поленился кто-то ударить палкой, срубил дерево. Стражинский нахмурился.

— Этому красавцу цены нет. Судить кедробийц надо.

Рядом, за плотной хвойной стеной, экскаваторы, бульдозеры, «татры» сливали мощный гул, а здесь — как в инопланетном притаенном царстве-государстве.

Рвем плотную, сочную ягоду, вдыхаем запахи леса и чувствуем себя благостно-спокойно. Проступила желтизна на березах, повисла паутина.

Стражинский берет ягоды всей сухой мускулистой ладонью — кровяно рдеет сок. Жидкие прядки разметавшихся волос едва прикрывают лоб, он забрасывает прядки назад и снова склоняется над мшагой. Кажется, не ягодами, куда более важным занят.

Вдруг словно споткнулся: снова — свежесрубленный кедр. Как павший от пули карателя мирный житель. Донесся треск сучьев, и в проемах стволов показался угловато-громоздкий Шаталин, за аварию с редуктором переведенный в нашу бригаду. За спиной у бурильщика ружье, тяжелый на лямках рюкзак с шишками. Неужели?.. Сурово-осудительно Стражинский пронзает глазами Михаила.

— Чего воззрился? У меня и секиры-то нет,— голос, простодушно-рыжеватое лицо убеждают в том, что говорит он искренне. Шаталин садится прямо на мшагу и гладит ствол дерева. На лице крохотные, как иголкой намеченные, веснушки. Густо их, и потому лицо красновато, в глазах неподдельное возмущение; старит Михаила внешняя мужиковатость.

— Не мог я так,— без обычной подначки продолжает бурильщик.— Люблю лес, как живую душу. У нас под Челябинском страсть хороши сосняки, выберешься к озеру ушлицу справить, бла-агость...

Из Михаила так и прет первозданно-русское, размашистое. Кажется, вырвали его из давних, былинных времен и поместили в мелкое, изощренное общество.

У Михаила сын — треткласник. Он вдруг появляется с лайкой серо-каштанового окраса и прихрамывающим, с палочкой дедком.

— Папа,— солидным прорезающимся баском оповещает Шаталин-младший,— дядю Петю гостевать зазываю.

— Ну-к что,— в тон согласно кивает Михаил,— заходи, Макарыч. Вспомним, как с белыми воевали.

Дедок чуть усмехается в жесткие седые усы. Он сторож с опорной скважины— в четыре тысячи метров скважина. Геологи торопятся узнать, есть ли нефть в глубинном пласте девона.

— Вишь, угрохали,— показывает Михаил на кедр.— Вот где требуется надзор,— с пулеметами и пушками, с капканами, самострелами хантыйскими.

— Аххха,— наморщенной, с отрубленным указательным пальцем рукой скрывает зевоту дедок и столь же равнодушно разматывает вязкую ниточку речи:

— Вашего брата сыщиками не усторожишь, и капканов, самострелов не напасешься. Валом валите — с одной прогнозою: «Не в свой чертог вступаю, хочу — крушу, хочу — милую». Матка не научит, дитя не уразумеет, миротворно напакостит.

Прав дядя Петя.

В последнее время заметно активизировался наш мастер Володя, ускоренно сдавал скважину за скважиной, словно не твердые породы дырявил — репу. Давнули — и готово, есть!

Володя в именинниках. Обрядившись в белый мотоциклетный шлем, гонял на «Иже» с Самоглора и обратно по неотложным надобностям. Спал урывками, свернувшись калачиком. При стуке двери ошалело вскакивал — глаза воспаленные, налитые кровью,— принимался кричать в рацию: «Центральная! Центральная! Дайте диспетчера»,— и когда диспетчер отзывался, требовал бурильных труб, песку для подсыпки площадки, еще чего-то. Устремлялся к буровой. Там Шаталин торопил, подгонял своих ночь напролет у лебедки... Рассвет касался верха запотевшей буровой, и вот уже солнце струило живые дорожки бликов.

Володя бросал отсутствующий взгляд на облачка, лазурь, блики, вахте: «Поднажмите, ребятки!» В заношенной кроличьей шапке, у которой одно ухо свисало до плеча, другое торчало вверх, с воспаленными диковатыми глазами, являл саму одержимость. Буквально за месяцы прославился, переплунув по проходке самого Григория Кузьмича Петрова. Родился еще один Мастер Самоглора — из тех, что приняли эстафету старших и шагнули дальше.

Получалось: героизм на Самоглоре — это всегда необходимость, проявляется рывком или повседневно незаметно. Здесь героизм — честно выполнять свои обязанности, не паниковать, не расслабляться. Всецело отдаваться делу. «Надо!» — значит: «Есть!»

Весна выдалась непогодная, затяжная. Собственно, весны и не было — похолодания, слякоти. Лето под стать весне — без солнца, с частыми ливнями. Грязь и сумрач, не мечталось даже искупаться и позагорать, спешили за такими прелестями на Большую землю. Те, что оставались, жили работой. Самоглор действовал, как прежде боевит и энергичен. Добавлялись новые скважины, струилась по трубам черная маслянистая жидкость, и в призрачном болотном мареве грохотали буровые. Минуло и трудное лето...

Осенью, когда снег просекал острой крупной, в линиях-выкидах схватился плеснувший туда раствор, потребовалось отпарить. Альберт в это время отдыхал, как он выразился, «за семью меридианами» — у Черного моря; Федя в отгулах. Вдвоем со Стражинским вышли на монтаж.

Умотали нас выкида. Вставляешь в трубу толстый резиновый шланг и давишь в спекшийся кремнем раствор. Пар, вырываясь, влажнит спецовку, словно только что из воды брюки и куртка. Ну и что? Обсохнем.

Темнело, облака клубились, но кой-где в разрывы упрямо проблескивали звезды. Ластилось к ним зарево Самоглора, и все дальше, за Белое озеро, отодвигались буровые.



Море расплеснулось игривым, бегуче-блещущим простором; берег настолько отлогий, что казался плоским. Волнишки взбегали без усилий. Берег заманивал их, и неугомонные услужливо омывали галечник, как гребешком прочесывали. Потянулась беззаботная отпускная пора. В здешней реальности зеленели пальмы и кипарисы. Накатывал прибой, пекло огромное солнце, и ни дождейки.

Где-то за линией горизонта, в десятках километров отсюда, бороздили воды чужие суда. Их пропускали во все концы света проливы Босфор и Дарданеллы — то, чем когда-то бредил Альберт. Теперь его планы твердо связывались с Нижневартовском. И он уже тяготился бездельем, свежие силы требовали применения, значит — пора! По пути завернули с Лидой в Бавлы, где Альберт провел детство... Поселок был тих, уютен и почему-то... чужд ему. Изведав море и Самотлор, Альберт хотел теперь стремительного, накаленно-бурного, где каждый день опаляющ, нацелен, где каждый час — борьба. Вдвойне был счастлив тем, что нашел это на Севере вместе с Лидой.



*Студент-заочник Литературного института имени А. М. Горького. После службы в армии работал геологом, нефтяником, тележурналистом, художником. Живет в Сургуте, работает в городском отделе культуры. Стихи публиковались в «Литературной газете», в газете «Литературная Россия», журналах «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Енисей», «Новый мир».*

### БАЛОК

По листьям зазмеятся тропы,  
Гнус заноеет с глухих болот,  
Лишь представлю я:  
Бронзой тронут,  
Бревна в складку,  
Не спит балок...  
Хмарь осины  
И мох — по брови,  
Писк мышиный  
В ночных стенах...  
Всей роднею — с трубою вровень —  
Обнимает его тайга.  
Пуст балок.  
У него в соседях  
Сон, беспамятство, тишина.  
А ему б — володеть беседой,  
Сыпать хохотом из окна.  
Коренастый владелец чащи,  
Песни пестовал под коньком,  
Песни пестовал...

И входящих  
Он одаривал огоньком.  
А когда над печной трубою  
Дым выкатывал колесо,  
За осиновою городьбою  
Узнавали его в лицо.  
Было ж время — в огнях, туманах  
Реял тракторный говорок,  
И, казалось, на все урманы  
Ясноглазый не спит балок.  
И, казалось, везде-повсюду,  
Даже в колышке для ковша,  
Даже в дружной семье посуды  
Доброхоткой живет душа.

...Пели-плакали половицы,  
Зыбью стлались под каблуки.  
И воскресного солнца плицы  
Медью вдарили в косяки!  
И сугробы, подладясь, пели...  
И не слышать бы, кроме тех,  
Чистых с холоду,  
Чуть похмельных  
Звуков —  
В жгучей их наготел..

...Приезжаю.  
Урман, как ворон.  
Годы грузно уходят вспять.  
И тяжелые руки бревен  
Обнимают меня опять.  
Это ж юность моя  
В тех бревнах!  
Сердце радостью бередя,  
Мечу  
Памятью

Поименно  
Наш балок...  
Благодать моя!

**ПЕРЕГОН  
ОЛЕНЕЙ**

**Ивану Тояркову**

Эпическим гулом развернут табун,  
Любимцев его оmyвает бурун,  
Зарывшись ноздрями в простор и туман,  
На правом крыле вырастает Иван.  
Кочевье  
Швыряет в простуду и пот,  
Кочевье по жилам шибает, как брага.  
Вдогонку — поземка,  
И, жадная, пьет  
С обугленных щек его гулкую влагу.  
За каждым бугром караулит беда,  
И рвутся с запястий поводья, зверея...  
Под взмахом хорея вскипает звезда,  
Крутая звезда —  
Под ударом хорея.

\* \* \*

В колодезной кладке темно от воды,  
Куржавятся ведра — хорошее дело!  
Над крышей дневует упитанный дым,  
Ночует.  
Изба все глаза проглядела.  
Тут хлеб от души вызревает в печах,  
Румяная изморозь утро вещает,  
Басок половицы, встречая в дверях,

В углах повторяясь,  
К стеклу провожает.  
Вот так, повторяю: встречает изба  
Уютом, да лаской,  
И легкой посадкой.  
В разбуженных хлопьях,  
Лицо серебря,  
Ведут от нее хоровод  
Палисады.

\* \* \*

...Вот так бы лететь за передним быком,  
Пронзая гремящий, спрессованный воздух,  
И, посвист раскатывая кругом,  
Потной щекою  
Отсвечивать в звездах,  
Чтоб шел, попевая за нами,  
Буран,  
Литой бубенец хохотал бы от счастья,  
Чтоб весело  
Вымахнув из-за бугра,  
Слепящие окна открыли объятья,  
Чтоб гулким,  
Намаянным на виражах,  
Давиться бы запахом теплого хлеба,  
Чтоб в звездной испарине,  
Жадно дыша,  
Гудящие краски  
Раскинуло небо!



*Окончил в 1962 году северный факультет Ленинградского пединститута имени А. И. Герцена. После службы в армии десять лет работал в окружном Доме народного творчества. Сейчас работает в Ханты-Мансийском геофизическом тресте. Стихи печатались во многих центральных газетах и журналах и в ряде коллективных сборников. Автор сборников на языке ханты «Мави Ас», «Тови ар», на ханты и русском языках «Жадная мышка», «Благодарность», перевел на родной язык книгу П. П. Ершова «Конек-горбунок», А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Участник Всесоюзного совещания молодых писателей в 1969 году в Москве. Сейчас работает над книгой стихов «Север мой, песня моя».*

#### **АВГУСТ**

Ветер в кустах куролесит,  
Листья вовсю теребя.  
Август, хороший месяц,  
Мне не забыть тебя!  
Многого не понимая,  
Приумножая грехи,  
Думал, что только о мае  
Буду писать стихи.  
Но август навеял думы,  
И вот я шагнул в луга,  
Где вырастают, как чумы,  
Свежего сена стога.  
И над волною плотной,  
Бортами дробя синеву,  
Рыбацкие легкие лодки,  
Как чайки, хватают плотву.

Плывут по Оби караваны —  
Туда, где и нефть и газ.  
Где зябкие синь-туманы  
Над вехами дальних трасс.  
На новостройки края  
Люди спешат, как домой.  
И волны, под солнцем играя,  
Бегут за широкой кормой.  
Над палубой теплохода —  
Легкие облака.  
О, как влюблена в работу  
Родная моя река!  
Цепочка плотов за буксиром,  
Словно бы стайка утят,  
Август бушует над миром,  
Но листья еще не летят.  
И я не то чтобы весел —  
Я от любви хмельной!..  
Август бушует над миром,  
Будь навсегда со мной!

Перевел с ханты Вячеслав Кузнецов

## МАСТЕР

П. Е. Шешкину

В дереве — таится мысль,  
Дерево дышит теплом...  
Вглядитесь: Эква Пирьсь \*  
Стоит, торжествуя над злом.  
Ногой придавил змею,  
Над головой — хорей.

---

\* Эква Пирьсь — герой народной легенды.

И я восхищен: узнаю  
Породу богатырей!  
Взыскателен мастер. Строга  
Рука... Ей стараться не лень.  
...Стремительней, чем пурга,  
Несется белый олень.  
А рядом — оленевод  
Распутывает аркан.  
Олень будет пойман вот-вот —  
Аж дрожь идет по рукам!  
И эту охотничью дрожь  
Я ощущаю сам...  
Волшебный у мастера нож,  
Не зря он творит чудеса!  
Обычную чурку берет,  
Которой мы топим печь,  
Ножом поколдует, и вот  
Дерево учится петь.  
И песня эта свежа,  
Как утренние облака...  
Словно крыло стрижа.  
Всегда в полете рука.  
Слова мне не сказав,  
Мастер кивнул головой.  
И вижу: прищурился глаз,  
Ильич стоит, как живой.

Перевел с ханты Вячеслав Кузнецов

### **УТРО НА БУРОВОЙ**

Багровеет брусникой спелой  
В лапах сосен заря.  
А мы уж взялись за дело,



В сугробах тропу торя.  
Кашляет после ночи  
Дизель (застыл старик!) —  
День начинать рабочий  
Тоже с зарей привык.  
На буровой хватает  
Всем и забот и дел.  
Чу! Вдруг глухарь взлетает.  
Прямо на вышку сел.  
Смотрит вокруг, дивится,  
Знать, невдомек ему:  
Людам в тайге не спится  
В ранний час почему?  
— Ишь ты, куда забрался?  
Вправду и глуп и глух! —  
Звонко расхохотался  
Мой горожанин-друг.  
Смех оборвал с укором  
Мастер, мудрец старик:  
— Судишь ты слишком  
        скоро!  
Просто хозяин бора  
Здесь токовать привык.

Перевел с ханты Анатолий Тетеревлёв

**Юрий  
Афанасьев**

**СПАСИБО,  
ПИОНЕР  
ДЗЕНЬ!**

Рассказ



*Живет и работает в селе Мужы Тюменской области редактор Шурышкарской районной газеты. С интересом изучает историю и обычаи северного края. Издана книжка для детей «Сказки дедушки Ай-по». Сейчас готовит к публикации повесть «В морозный день».*

Так жаль, что в оленеводческой избушке не оказалось геолога Федора. Тапса-нэ торопился рассказать, как принимали его в пионеры.

Олени совсем выдохлись, стоят, высунули языки, клубится над ними теплое облачко. Быстро устают олени весной — снег рыхлый.

Жаль, что не дождался и дедушка. А бабушку вовсе не удивил новый шелковый галстук. Все оленеводы подвязывают летом косынки: красные, синие или белые — от гнуса. Накрыла она свое лицо цветастым длинным платком и копошится около железной печи. Ей, главное, к вечеру успеть приготовить ужин для оленеводов. Километрах в двух-трех от избушки раскинулось несколько чумов, сейчас все оленеводы круглосуточно неусыпно берегут стада. Важенки-самки тяжелые стали, скоро тундра наполнится веселым хорканьем маленьких оленят.

Тапса-нэ ходит из угла в угол. Ой, как скучно, когда не с кем разделить свою радость. Над сугробами кружит мяг-

кая, липкая поземка. Буровая вышка совсем недалеко от избушки, там и работает Федор-комсомолец. В школе он часто у ребят бывает, но дружит только с Тапса-нэ. Металлических вышек очень много сейчас на Ямале, высоко, до сорока двух метров поднимаются они, и чумы кажутся совсем маленькими, приплюснутыми, как ондатровые норки.

На стене висит гитара Федора. Любят оленеводы слушать его песни. Дедушка называет гитару тор-саплем (хантыйским музыкальным инструментом), только вместо жил на гитарах железные струны.

— А как же, если геолог в железном чуме работает, значит, и струны должны быть железными,— так рассуждает дедушка, хвалит Федора за песни: — Хоть и в каменном городе жил, а про тундру тоже умеет песни хорошие придумывать.

Румой-другом стал геолог у оленеводов. Тапса-нэ снял гитару и тренькнул — медвежьим рыком отозвалась струна, еще тренькнул — льдинки звякнули на Оби. Прислушался Тапса-нэ, как гудит струна. Хорошо гудит струна, дольше, чем дедушкин тор-сапль. Тапса-нэ тренькнул за самую тонкую... Но вдруг она отозвалась таким страшным громом, так загудела, что гитара выкатилась из рук, а бабушка чуть не свалилась на пол.

— Духи неба! Что случилось с тундрой? — испугалась бабушка, а Тапса-нэ зайцем выпрыгнул на улицу.

Из-под огромной вышки фонтаном вырывалось страшное огненное пламя.

— Бабушка, бабушка! — побледневший Тапса-нэ даже не услышал своего голоса. Но бабушка стояла рядом, позавывав прикусить зубами платок, чтобы случайно не показать свое лицо постороннему. Ветром сорвало платок с головы, а бабушка только растерянно моргала красными веками. Пламя злобно рвало пургу, длинными языками пожирало сугробы.

— Да это же газ, бабушка, газ! — в самое ухо бабушки прокричал Тапса-нэ.

Сколько раз дедушка спорил с Федором-геологом:

— Какой газ, какая нефть? Зачем воду под землей искать, когда с неба ее много падает?

— Мы согреем тундру, уберем железные печурки из чумов,— отвечал Федор.— Да и чумов скоро не будет!

— Чум будет всегда,— гордо отвечал дедушка.

— Смотри, бабушка, к нам едут,— указал Тапса-нэ на вездеход. Из-за гула и рева его и не заметили. Но почему-то вездеход волчком крутнулся и остановился...

Люди из машины осторожно вытащили большой белый сверток и уложили его в избушке на сдвинутые два стола. Тапса-нэ понял, что случилась беда. Под окровавленной простыней лежал человек.

— Большие рыжие унты! — вскрикнул и прикрыл рот ладонью Тапса-нэ, в ознобе прижался к бабушке.— Это он,— только и выдохнул внук. Люди тихо и сурово переговаривались, но Тапса-нэ почти их не слышал.

— Кто знал, что машина разуется, спадет гусеница,— растерянно бормотал молодой водитель.— Всегда было все на ходу.

— Всегда и человек здоров до первого случая! — хмуро заметил другой, с ящичком в руках, это был доктор.

Поземка испуганно билась в окно, сыпала снежной крупой. Доктор свел на переносице брови так, что побелел лоб, и вслушался в свист и рев проснувшейся земли.

— Срочно нужна кровь! — сказал он, по-прежнему слушая землю.— Через час-два будет поздно.

— Доктор,— взмолился водитель, острый кадык заходил у него на тонкой шее, не замечая людей, он размазывал слезы кулаком.— У меня же первая группа... Знаю точно, что первая группа... Знаю точно, что первая... почему нельзя мою?

— Я сказал «однорупповая»... Большая потеря крови... В конце концов,— врач вскочил со стула, нервно заходил по комнате.— В конце концов я не учу вас там,— он показал в сторону вышки,— что называется ротором, или зачем для

бурения нужна глина... Мне срочно нужен донор. У меня есть сыворотка. Хотя бы 200 граммов крови для частичной мобилизации сил больного...

Последние слова врач произнес тихо и устало, словно уже теряя надежду. В такую погоду и вертолета не дожидаться. Эта безнадежность и вывела из оцепенения Тапса-нэ.

— Доктор,— соскочил он с кровати,— Тапса-нэ все понял: нужен такой человек, нужна кровь.— Доктор,— повторил он, теребя за рукав,— к оленеводам надо ехать... тут недалеко.

Врач слегка вздрогнул, но потом мягко положил руку на стриженую голову Тапса-нэ:

— На чем? Да и нет ни одного тундровика-донора, обычно им не позволяют.

— На оленях ехать, к дедушке... почему не позволяет, если Федора-руму надо спасать? — Тапса-нэ одним махом накинул на себя малицу.— Поверят,— торопился он убедить доктора,— пионеру обязательно поверят...

Маленькой надеждой затеплились глаза доктора. А Тапса-нэ уже ловко поправлял упряжку. Как пожалел сейчас врач, что за много лет жизни на Крайнем Севере так и не научился управлять оленями. И двоим ехать нельзя — олени слабые, наст рыхлый, не выдержит. Не мог он и запретить, отправляя мальчишку по бездорожью,— Федор без крови погибнет.

От опытного глаза бабушки ничего не ускользнуло. Внук правильно поправил постромки — вожаку пропустил ремень с правой стороны, крайнему — наоборот, покрепче до локтя намотал вожжу, в левую руку взял красный хорей — длинную гладкую жердь, без нее олень не понимает, что надо бежать вперед.

— Эгей-гей! — разнесся крик, и нарты скрылись в снежной пелене.

— Тапса-нэ знает тундру. Тапса-нэ любит тундру. Спешите, олешки, авка, спешите, из моих ладоней ты ел хлеб,— поет и плачет пионер.— Геологу Федору поможем. Неда-

леко нам ехать, скоро лед, немножко речку-юган проедем, потом озеро будет, снегу там поменьше — легче бежать, а с озера и чум увидим...

Так и слагаются в тундре песни...

В середине пути один олень стал метаться из стороны в сторону, как пьяный, два других тянут его и нарту. Соскочил Тапса-нэ, пощупал оленя за ухом — совсем не осталось жира, значит, ослаб, несколько дней не ел, сейчас ляжет. Острым ножом перерезал постромки, освободил оленя. Отдохнет — сам придет в стадо.

Тапса-нэ легкий, нарты оставляют на снегу чуть заметные два усика. Прыгают нарты через бугры, но как приклеенный сидит на них Тапса-нэ. «Бегите, олешки, спасать надо геолога...»

Вышку строили, когда Тапса-нэ пошел в школу. Сколько над ним смеялись, пока научился русскому языку. У хантов и ненцев на Ямале нет почти звонких согласных. «Дзе-ень!» — растягивал по слогам Федор, ему было смешно, как Тапса-нэ послушно повторял: «Тсень!» А весной, когда заплакали сосульки, геолог взял железный таз и подозвал Тапса-нэ. Холодная прозрачная капля со звоном падала. «Дзе-ень!» — упорно добивался Федор. «Дзе-ень!» — неожиданно для себя сказал Тапса-нэ, сорвал под крышей сосульку и, хрумкая, весело стал приплясывать: «дзень, дзень, дзень!»

Вот так и получилось у него второе имя. Только называл его так один Федор — Дзень!

Задумался Тапса-нэ, не заметил узкую горловину речушки-югана. Нарты подпрыгнули, хорей зацепился между двумя деревьями и хрустнул, как спичка. Барахтаясь в сугробе, не выпуская из рук вожжу, понял Тапса-нэ, что без хорея не уехать на оленях, в отчаянии упал лицом в снег. Ему показалось, что лежит он долго, что никто уже не поможет Федору-геологу. А в висках стучит: «Кровь, нужна кровь!» — а в ушах звенит песня геолога:

«Вьюга бродит в ночи. Иглы снега в глазах. Нарты снова в пути. На оленьих рогах в бездну падаю я. Но упрямым человек... Кружит, кружит пурга, заметая мой след...»

Вскочил Тапса-нэ, дергает вожжой, но беспонятные олени кружат вокруг нарты. Он и сам не знает, почему так сделал: развязал галстук и стал им размахивать над головой. Олени испуганно вздрогнули, озираясь на красный цвет — в струны натянули постромки. Снег из-под копыт ударил в грудь пионера Тапса-нэ.

Очень не понравилось старшим: не по обычаю поступил Тапса-нэ. С дороги приехал в чум — чаю надо попить, подождать, когда старшие спросят, и тогда уже разговор начинать. А Тапса-нэ все перемешал от волнения, даже поздороваться позабыл, дедушку рассердил.

— Испуганный заяц первым в петле оказывается. Почему так дрожишь?

— Видно, страх вперед ума родился.

— У сороки много трескотни, да только всё объедки подбирает.— Поучали мальчишку оленеводы.

А когда узнали, что с геологом Федором плохо, совсем перестали понимать Тапса-нэ.

— Ня-нех — сырой крови надо?

Они для геолога сейчас зарежут самого лучшего оленя. Но зачем для геолога человеческую кровь? Разве люди ели когда-нибудь друг друга? Такого в тундре еще никогда не слышали. Путаает что-то мальчишка.

Черные глаза Тапса-нэ блеснули гневом. Не верят люди его путаным словам, а слез совсем не любят.

— Меня в пионеры приняли,— подошел Тапса-нэ к дедушке.— Это галстук, его дают в тот день, когда родился Ленин... Галстук за правду дают...

— За правду дают, хорошо,— согласился дедушка, поглаживая на коленях красный шелк.— Немножко вырастешь, скажи, чтобы большой галстук дали.

«Как дедушка не понимает, что галстуки у всех одинаковые! — возмущается Тапса-нэ.— Постарел, однако...»

Дедушка сидел неподвижно, прикрыв ноги белой шкуркой олененка. Он с трудом уже вставал, глаза его постоянно слезились — от слепящего весеннего солнца. Но старый оленевод понимал внука, только слова у него были другие. Много зим прошло, когда помогал он отбирать у шаманов и кулаков оленей для колхозного стада. Дедушка тоже выполнял наказания Ильича. Не боялся молодой дедушка острого ножа или броска аркана-тынзяна в свинцовых сумерках. По всей щеке остался шрам, его не скрывали ни глубокие морщины, ни белая, как ягель, борода.

И сейчас дед понял — внук ждет от него помощи, и не время учить его, как надо говорить со старшими. Время идет, и у геолога Федора уходит жизнь... Ждать совсем некогда, и тогда он сказал:

— Однако мало научиться разводить костер только под своим котлом, когда другому плохо... Тапса-нэ большой разговор ведет...

Притихли разом оленеводы, отодвинулись от низкого столика, подвернули под себя ноги, внимательно слушают пионера.

— Нужен такой человек, кровь у которого родной Федору придется,— говорит Тапса-нэ.— Всех оленеводов надо собрать...

— Тундра приняла геолога,— шушукались пастухи.— Для всех Федор огонь искал...

Через минуту оленеводы откинули полог чума и уже на ходу застегивали широкие ремни, в медных украшениях и звериных кlyках.

Только по снежному облачку угадывались нарты, четыре из них мчались прямо к избушке, а пятый пастух направил своих оленей в соседнее стадо. На хорее у него трепыхался красный галстук, ведь в других чумах тоже могут не поверить... Надо правду сказать — родная кровь Федору нужна.



Волк жадный, но его можно выследить, а россомаха хитрая. Целыми днями скрывается на деревьях. Прыгнет на оленя, горло порвет — и опять выжидает на другом, а следов нет. Тапса-нэ один кружит тропу вокруг стада. Его не пугает тундра, но тревожно на душе. Перед глазами — простыня и рыжие унты. Поземка улеглась. Уже прокалывают небо первые звезды и спокойно смотрят на снег. Зазвенел колокольчик — то возвращался пастух сменить на дежурстве Тапса-нэ, не дожидаясь его, погнал свою упряжку к избушке...

Много оленеводов собралось, и геологи в брезентовых комбинезонах. Все задрали головы и смотрели, как вертолет ввинчивается в небо. Опоздал!

— Осторожно, однако, летят. Боятся потревожить Федора, — разговаривали они. Один стоял в рубашке с оголенной до локтя рукой. Он торжественно потряс ею перед Тапса-нэ:

— Самую крупную кровь у меня нашли!

— Не крупную, а одnogрупповую, — поправил Тапса-нэ.

— Все равно моя главней оказалась. Геологу помогла...

Шибко тяжело ему было.

Только сейчас Тапса-нэ захотелось узнать, что же случилось с Федором. Но все были заняты вертолетом. Тапса-нэ стало обидно, никто с ним не разговаривает, а потом кто-то сказал, что его галстук в вертолет взяли.

— Как же я вернусь в школу без галстука? — испугался Тапса-нэ.

Но тут вертолет завис над избушкой, все увидели, как затрепыхался красный лоскуток с подвязанным на конце грузиком. Он упал прямо к ногам Тапса-нэ. Это был галстук, и к нему привязан листочек бумаги. Кто-то размашисто, наверное, за Федора написал:

«Спасибо, пионер Дзень!»

— Значит, Федор знает, что я пионер, значит, Федор знает, что я ему немножко помог, — счастливо шептал Тапса-нэ.



*Радиожурналистка. Живет и работает в Тобольске. Стихи публиковались в газетах, звучали по радио. Сейчас работает над новым циклом стихов.*

## ПОЛЕТ

Пустите меня! Вы мне все надоели...  
Как тихо сегодня в привычном бору.  
Напрасно заставу готовите, ели,—  
Я вас не послушаюсь, я удеру.  
Мне тесно и глухо в бору затененном.  
Душа взбунтовалась, теперь не унять.  
И я по еще не открытым законам  
Весной за ручьем убегаю... летать!  
Он, вырвавшись из-под глубокого снега,  
Полоску для взлета укажет мне сам.  
Бегу я и землю теряю с разбега,  
Взмывая к прозрачным тугим небесам.  
Вы счастливы жизнью, а я — этим мигом.  
И счастья другого себе не хочу.  
Эй вы, деревьяги, смотрите, смотрите,  
Бескрылые, видите — я же лечу-у-у!

## КУЗЬМИЧ

Ну, сеет-вьет тяжелая погода.  
Такая темень — есть у неба дно.  
Давай, Кузьмич, к балку подгоним «сотку»:  
Ты посвети мне фарами в окно.  
Плесну в «буржуйку» баночку солярки,

(ЛЭП в стороне, не подключить «козла»)  
Глаза дерет, зато уж будет жарко!  
Куржак со стен сползает от тепла.  
Чаек ребятам я сейчас сварганю,  
Окурки с полки голиком смахну,  
Оттаю хлеб — совсем замерз, как камень.  
Ты что молчишь, а? Надо же — уснул...  
Вчера связисты ставили опору,  
Его бульдозер метрах в трех стоял,  
Вдруг — грязь фонтаном, потащило в прорву,  
И — на глазах у всех — как не бывал...  
Места у нас в тайге не для прогулок.  
Геройство перестало удивлять.  
Мы строим.  
КрАЗ гудит победным гулом...  
Вставай, Кузьмич, пойдем ребят встречать.

## ВЕСНА

Еще вчера томила отрешенность  
Унылых покосившихся церквей...  
Сегодня — солнце, и грачиный гомон,  
И молодое небо меж ветвей.  
Как удлинились дали приречные.  
И небосклон раскрепощенный пуст.  
Все те же кедры, но теперь — живые,  
Хоть под ногами льдистой крупки хруст.  
А воздух держит запахи полета,  
Еще небесный, околосемной,  
И хорошо-то как, и жить охота,  
Хоть ненадолго быть самим собой.  
Снега ту силу, что зимой дремала,  
В один крушащий всё ручей свели.  
Весна! Весна... И новое начало  
От старой переполненной земли.



Ты подвинься, я прижмусь  
к тебе щекою,  
Можно, заберусь в постель с ногами?  
Почему ты стала маленькой такою,  
Не со строгими, а с грустными глазами?  
Кажется, что сердце бьется реже,  
Да и ходишь не твоим летящим ходом...  
Бакен, мама, все стоит на месте прежнем,  
Хоть и стар, но очень нужен пароходам...  
Будет отпуск, я к тебе еще заеду:  
Разве это расстояние — две тыщи!  
Много ближе, чем туманность Андромеды...  
Что в тайге?  
Свою звезду там ищем...

### **КОСАЧ**

Пел косач, ослепший и оглохший,  
Пламенела от натуги бровь,  
И дрожал над ним сучок засохший —  
Пел косач про первую любовь.  
Он — и смех и грех, — как африканец,  
Тряс плечами, прыгал и кружил  
Или вдруг, совсем забыв про танец,  
Пел, что бог на душу положил.  
Замолкали, слушая, глухарки.  
Копалуха — в снег! (Как я в копну  
В тот июль, единственный и жаркий,  
Доверяясь бытовочному сну...)

### **ТРАКТОРОК**

Несравненный запах жнива!  
Рядом косят рожь на свал.

А в логу за ближней гривой  
Солнце лезет в чернотал.  
Тракторок из окстезерья,  
Косолапый, небольшой,  
Словно бабушка Лукерья,  
Не спеша катит домой.  
Эх, на пенсию бы надо.  
(Угонись за К-700!)

Сам еще до зерносклада  
Две тележки волокёт:  
Хлеб пошел — нужна помога.  
Хорошо земля родит!  
Междусельская дорога  
Под колесами гудит...



*После окончания Ленинградского университета работал на северных стройках. Сейчас живет и работает в Тюмени — в главке по строительству трубопроводов. Стихи печатались в журналах «Юность», «Октябрь», «Урал», в коллективных сборниках. Первая книга «Стихотворения» вышла в 1977 году в Свердловске. Сейчас молодой литератор работает над книгой поэм о Тюменском Севере.*

**КОЛЫБЕЛЬНАЯ  
ДЛЯ КОЛОДЕЗНОГО  
ЖУРАВЛЯ**

Спи, моя степная птица,  
люли, люлюшки, люлю,  
я пою, когда не спится  
у колодца журавлю.

Ты стоишь среди метели,  
люли, люлюшки, люли,  
улетели, улетели  
твои тезки — журавли.

Спи, моя степная птица,  
люли, люлюшки, люли,  
пусть тебе звезда приснится,  
в глубь упавшая твою.

А как брызнет лучик солнца,  
люли, люлюшки, люли,  
брось его вон в то оконце  
Любе, Любушке, Любви.

Пусть она скорей проснется,  
пусть увидит: сквозь метель  
рвется в небо из колодца  
деревянный журавель.

\* \* \*

Реки рук твоих  
обняли синее небо,  
реки рук твоих  
обняли черную землю,  
а в глазах твоих  
тонет багровое солнце,  
ах, в глазах твоих  
желтые звезды заходят,  
в твоих косах  
две белые ночи  
медленно тянутся,  
и серебряный ветер  
поет в твоём горле.  
Все в тебе:  
и небо,  
и солнце,  
и звезды,  
и ветер.

А ты у меня  
серой морщинкой  
лежишь поперек лба...

\* \* \*

Отцвели соловьи,  
и закончились встречи.  
Обнимаешь свои  
опустевшие плечи.



Вьюга, окна слепя,  
снег метет у порога,  
Обнимаешь себя,  
чтоб согреться немного.

Как продрогла ты вся  
от зимы, от разлуки!  
...Не закутаешься  
в свои тонкие руки...

### **ВИД НА УЛИЦУ**

Витрины — в ряд,  
машины — в след...  
Смотрел бы в сад,  
да сада нет.

В бетон и сталь  
бьет желтый свет...  
Смотрел бы в даль,  
но дали нет.

На лбу — рука,  
мне не уснуть.  
...Еще пока  
есть Млечный Путь.

\* \* \*

Друг пришел с ночевой,  
бросил курточку на пол,  
не сказал ничего,  
не вздохнул, не заплакал.

Долго-долго вдвоем  
мы в молчанье сидели.  
А потом: Что споем?  
И о клене запели,

что забрался в сугроб,  
под метелью согнулся...  
Пели шепотом, чтоб  
кто-нибудь не проснулся.

### **ПРОСПЕКТ**

С площади взяв разбег,  
рощицу сбивши с ног,  
с ревом бежит проспект —  
в поле, на красный сноп.

К матери так — малыш,  
в жаркие руки чтоб.  
Так разлюбивший — в тишь,  
не разбирая троп.

Вон в золотой рассвет  
тычется новый бар.  
В поле бежит проспект!  
Баня... продмаг... базар...

Таисья  
Чучелина

## КУРОПАТКИ ТАКИЕ БЕЛЫЕ

Хантыйская  
сказка



*Известная собирательница сказов на языке ханты. Живет в Ханты-Мансийске. Две новые сказки мы предлагаем читателю.*

Дедушка старенький-старенький жил с бабушкой древней в лесу. Дед пошел в лес на охоту за куропатками. Была зима. Куропатки во всем белом, кроме глаз, по лесу вокруг горы бегали, а дедушка стал пленки-петли из конского волоса на них ставить. Добрый, ловкий охотник дед — пар изо рта, глаз острый, живой и теплый.

Куропатки его спрашивают:

— Что это ты, дедушка, делаешь?

— А я пленки ставлю, — отвечает дед, — вас ловить стану.

Куропатки всей стаей захохотали, засмеялись:

— Дедушка, дедушка, иди домой! Лучше иди-ка в свою избушечку! Вымой, вычисти избушечку свою! Мы все перейдем жить к тебе. Старуху свою выгони, кры-квах-крах, гони! Ла-ха-хи! Мы вот какие беленькие, красивенькие, а жена-то у тебя совсем старая стала! — и как зеркальца осветились, серебром засмеялись.

У деда свое в голове: «Придут ко мне куропатки в избушку. Дверь я закрою, всех переловлю... Много мяса я засушу».

Пришел дед домой. Выгоняет из дому старуху — слова не говорит. Та горько заплакала и ушла жить в сарайчик.

Вымыл и вычистил дед избушку. Пошел поклониться в рощу, разжег костер и приглашает куропаток:

— Приходите, старуху я выгнал. Приходите — весело жить будем.

Куропатки засмеялись:

— Ох, старый ты, дед, где видано, чтоб куропатки в домах жили? Мы летим, летим по сору-протоке, стемнеет — в снег зароемся, переспим, а утром летим на другой сор.

И полетели. Дед гонялся-гонялся за ними. И не догнал ни одной. Белые-белые они все — в снегах не видно. Вернулся петли снять — около них куропатки. Хохочут: «Кры-квах-квах!» Выгнал старуху из дома. Разве может жить белая куропатка в доме? Разве можно старого человека из дому гнать?

Поднялись, из-под крыла опустилась пурга, и замерз дед в снегу.

## БРУСНИЧКА

Жила-была Брусничка-Ягодка в лесу. Жила Брусничка, по шкуре оленьей вышивала.

Однажды в ясный день на бугорке сидит Брусничка, вышивает и видит: белочка бежит. Ягодка Брусничка бросает маленький ножичек и сбивает белочку. Она ее обрабатывает: из головы — шапочку, из самой белочки — шубку, из лапчек — варежки, а из хвостика — воротничок. Оделась в беличьих меха Ягодка. Мясо скушала. Зима была. Живет она долго, коротко ли. Однажды к ней пришел охотник. Он спрашивает:

— Кто ты?

— Я Ягодка Брусничка. Погости, охотник. Я угощу тебя!

Пошла она за припасом. А головка беличья примерзла. Ягодка плачет, не может ее оторвать:

— Чем же я его угощу?

Охотник ждал-ждал и вышел. Помог он Ягодке — взял из снега вынул. Любуется охотник хлопотами Ягодки. Остался ночевать. Наварил глухариного мяса. Покушали вместе с Ягодкой. Полюбилась она ему, и он пригласил ее с собой:

— Будь женой!

— Как же я пойду по снегу? — удивилась Ягодка Брусничка.

— Я тебя на нарты посажу. Будешь со мной жить, с моими сестрами дружить!

Согласилась Ягодка. Посадил ее охотник в нарты, укутал потеплее, чтоб не замерзла, — ехать неблизко.

Вернулся домой радостным, много охотился, а такого чуда зимой никогда не видел, чтоб Ягодка, да еще разговаривала.

Выбежали сестры встречать его, столпились возле нарт. Тормошат нарты. Вытряхнули Ягодку, не заметили ее и раздавили. Не ягодкино это дело — в нартах ездить, в лесу ее место.

Перевел с ханты Г. Сазонов

**Маргарита  
Анисимкова**



## **ОЛЕНЬЯ ШКУРА**

**Мансийский  
сказ**

*Живет в Нижневартовске. Работает в вышкомонтажной конторе. Сказки, легенды печатались в журналах. Опубликовано в сборник «Мансийские сказы».*

Затосковал старый Суеват, когда в сосновом бору схоронил свою старуху. Ночи длинные, дни темны. Огрузнели плечи Суевата, отяжелели ноги. В голове зашумели северные вьюги. Не слышит он ни собачий лай, ни глухариный ток, и не слышит он свист уток и хорканье оленей. Тоска безбрежная подкралась.

Попросил он сыновей принести из лабаза старую оленью шкуру.

— Подстелите!

День лежал на ней Суеват. Два лежал и три лежал. Вылежал и говорит сыновьям:

— Не уходите далеко от чума на охоту. Начнет солнце за темный пихтовник прятаться — торопитесь! Умру скоро!

Не хотели сыновья такого от отца слушать, да знали — попусту отец слов не бросает.

Несколько дней прошло. Вытянулся Суеват на оленьей шкуре. Положил сухие, длинные руки под голову. Уставил на звездное небо глаза и долго смотрел. Прощался, навер-

ное, со звездами и облаками. Кликнул сыновей. Присели сыновья у изголовья Суевата. Приподнялся Суеват. Видит — лица у сыновей бледные. Губы пересохли, а свет в глазах старших недобрый, мутный, а у младшенького Куземки на реснице слеза дрожит.

Застонал Суеват. Закрыв глаза и говорит:

— Как умру я — увезите в сосновый бор. Поближе к матери. И везите меня туда, сидя на нарте, чтобы сам Небо-Турум видел — поехал я к нему.

— Поедешь, отвезем! — в голос ответили старшие братья.

— Изловите оленей. Поровну поделите между собой.

— Разделим, поделим! — соглашались сыновья.

— Станете шкуры делить, вот эту старую, что подо мной лежит, — младшему Куземке отдайте:

— Старую отдадим! — сказали сыновья.

Закрыв глаза Суеват. Умер. Вбежали в чум жены сыновей старших — розовощекие, заиндевелые, крепкие и грудастые, и давай кричать на мужей своих:

— Чего это вы перед ним на коленях сидите? Делите скорее оленей. Мы пригнали их!

Вскочили старшие братья, выбежали из чума вслед за своими женами горластыми.

У Суевата стадо большое. Олени сытые, быки с бородами длинными. Встревоженные, шарахаются, купаются в глубоком снегу, хорхают: «Хор-хор-кха-кхор!»

— Ловите быков! Ловите хор! — кричат мужьям жены. — Что вы с чума дырявого глаз не спускаете? Там Куземка остался. Похоронит он отца. Не велика эта работа!

И старшие братья стали ловить оленей да торопливо так делить между собою, что про Куземку забыли.

Вокруг Куземки тихо стало. Прикрыл отца оленьей шкурой. Вышел из чума. Видит — стоит в стороне упряжка из трех оленей, а на снегу следы от отцовского стада да оленьих отцовских нарт. Подогнал Куземка упряжку к чуму, одел отца в савик, в котором он на охоту ходил да в стада ездил,

пояс застегнул с тремя медвежьими клыками, положил на нарту оленью шкуру. Посадил отца на правую сторону нарты, дал ему в холодные руки хорей, сам на левую сел.

Погнал оленей неторопко. Понесли олени нарты в сосновый бор. Схоронил Куземка отца по древнему закону.

Но только положил он на могилу охотничий лук, как пурга поднялась, закружило все, зашумели деревья, заскрипели, загудели дуплами. Почуяли пургу олени — в снег легли. Подбежал к ним Куземка, только хотел между ними лечь, чтоб погреться, видит — поднялась с нарты оленья шкура, покружила над головой и расстелилась на снегу перед Куземкой. Куземка встал на нее, и обняла шкура плечи, прикрыла ноги. Хоть и дырявая шкура была, а как подлетела — ворс поднялся. Густой стала шерсть, ласковой. И такое тепло от нее пошло, будто материнские руки Куземку обогрели.

Приехал Куземка в чум, потряхнул шкуру, положил ее в угол. Сиротливо стало Куземке в чуме — не пожалели его братья, не взяли с собой, одного оставили. Подумал он так, а шкура в углу шевельнулась, приподнялась и подлетела к Куземке, расстелилась у его ног. А на самой середине ее лук лежит со стрелами, нож охотничий в резных ножнах да тынзян-аркан. Посмотрел Куземка — удивился, отодвинул от себя подарки, руки за спину спрятал, а шкура перевернулась и положила все у ног, а сама снова в угол улетела. Не стал Куземка раздумывать, взял подарки, сел на нарту и поехал на охоту.

А в охоте он стал удачлив. Оттого ли, что угожья отцовские были богатыми, или стрела отцовская нагоняла зверя. Оленья ли шкура — отцовское наследство — помогала ему!

О Куземке заговорили в округе. Купцы стали чаще к нему заглядывать. Прослышали про то жены старших братьев. Рассердились. Ночи спать перестали, на шкурах с боку на бок ворочаются, все думают, как с мужьями своими промахнулись, отчего дуракам везет.

Жена старшего брата и закричала:



— Сон я видела — Куземка сжечь отцовские уголья собрался. Пламя хочет пустить по кедровникам.

— А я видела сон, — с плачем сказала жена среднего брата. — Куземка весь ягель истоптал, чужие стада на отцовские пастбища пустил.

— Поезжайте к Куземке! Поезжайте! Узнайте: где и как он так много зверья бьет! — визжали горластые жены.

Поехали братья. Едут, смотрят по сторонам. Видят, много вокруг следов собольих и горностаевых, песцовые следы, волчьи и рысьи. Заехали в бор, шум там поднялся от борова-птицы. Небо закрыли птицы крыльями. Молчат братья. Едут дальше. Скоро отцовский чум покажется.

Прислушался Куземка. По звону упряжек узнал колокольчики с отцовской упряжки братьев. Обрадовался встрече, угощать их стал.

Сидят братья, молчат. Говорит старший:

— Мы приехали в отцовские места поохотиться.

Обрадовался Куземка. Не один он будет в лесу, заулыбался и говорит:

— Хороши отцовские уголья! Зверя всем хватит. Зря вы отсюда уехали. Хватило бы нам всем места!

Молчат братья.

Пришло новое утро. Старший брат и говорит:

— Я с дороги отдохну в чуме, а вы идите на охоту вдвоем. Еду сварю да чум натоплю.

Пошел Куземка с братом средним на охоту. Остался старший брат в чуме, перевернул все шкуры, пересмотрел пустые берестяные туески. Дрова рубил, котел скоблил — полдня прошло. Стал он мясо варить. Сварил мясо, поставил его в сторонку, сидит у огня, ждет братьев с охоты. Вдруг в дальнем углу треск раздался. Видит — повалились в углу шкуры, и выползла из-под земли старая черная баба. Волосы длинные, блестят, как салом вымазаны. Руки худые, черные, платье длинное, до пят. Села перед старшим братом на корточки, смотрит на него глазами черными, потом как

дыхнет на огонь! Дрова в очаге ожили, затрещали, пламя, искры в небо столбом! Испугался старший брат — прячет под себя ноги, закрывает лицо руками.

— Ты это? — закричала черная баба.— Воротился! Про отцовские угоды вспомнил?!

Сидит старший брат, слова сказать не может.

— За Куземкой я пришла! Тебя мне не надо. Жадный ты! — крикнула черная баба, забежала по чуму, обнюхала все шкуры, схватила котелок с мясом, съела все и обратно в землю залезла.

Пришли Куземка с братом с охоты, с хорошей добычей вернулись. В чуме холодно, еда не сварена, старший брат на шкурах лежит, стонет, больным притворяется.

Разжег Куземка огонь, сварил мясо, поели.

Утром старший брат и говорит:

— Пусть сегодня в чуме средний брат останется, еду нам сварит, а ты, Куземка, мне лучшие места покажешь.

Остался средний брат в чуме. Как и старший, тоже обшарил углы, все берестяные туески, сварил мясо, съел жирный кусок. Из-под земли снова черная баба вылезла. Побегала по чуму, съела в котле мясо, потрясла за шиворот среднего брата, крикнула в лицо хриплым голосом:

— Не за тобой, а за Куземкой пришла! — И обратно в землю ушла.

Пришел Куземка с охоты. Есть им опять нечего. Катается по шкурам средний брат, за живот хватается.

— Ладно, идите на охоту одни! — сказал на новое утро Куземка своим братьям.— Я останусь в чуме, еду вам сварю.

Ушли братья. Быстро сварил Куземка еду, освежевал добычу, сидит у огня, стрелы делает. Вдруг в углу треск раздался, повалились шкуры и вылезла из-под земли черная баба. Фыркнула, глаза уставила на Куземку. Задрожала всем телом. Ух, какая страшная!

— Чего уставилась? Есть хочешь — ешь! Братьям еще сварю, успею! — говорит Куземка, не подает виду, что испугался.

Замотала черная баба головой, забегала вокруг Куземки. Давай его за ворот рубахи хватать.

— Ты чего это дуришь? — спросил ее Куземка.

Крикнула черная баба. От крика в очаге искры затрещали, дрова вспыхнули.

— Пойдем со мной, Куземка! — крикнула черная баба. — Одному тебе тепло земное покажу!

— Мне и солнышка хватит! — ответил ей Куземка.

— Ох, ох! — простонала черная баба. — Ничего ты не знаешь!

Не успел он, Куземка, обернуться, как баба подскочила, схватила за волосы его и потащила в яму. Не оплошал Куземка, перебросил бабу через себя, перекрутил ей руки и ноги, стянул ремнями и толкнул в угол на шкуры.

Возвратились с охоты старшие братья. Подходят к чуму, дрожат, озираются, вошли в чум, увидели черную бабу, запричитали всякие заклинания, спрятали головы под шкуры.

— Вот отчего у вас животы болели, да еда не варилась, — сказал Куземка братьям. — Не бойтесь ее, идите есть. Ничего вам не сделает черная баба. Крепко держат ее ремни сыромятные.

Переспали ночь, а утром говорит Куземка братьям:

— Давайте глянем, откуда к нам черная баба пришла?

— Не надо, Куземка! — шепотом просят братья, испугались.

А Куземка свое:

— Несите сюда ремни длинные. Полезем! Про какое земное тепло говорила черная баба?

— Отпусти нас, Куземка! — говорит старший брат.

— Полезай первым! — сказал Куземка, словно не слыша его слов.

Нечего делать. Пошел старший брат к яме и говорит:

— Как я закричу — тяните меня обратно наверх!

Полез старший брат в яму. Голова только скрылась под землей, закричал не своим голосом. Вытащили его братья скорее наверх. Он весь трясется от страха.

Полез в яму средний брат. Закричал, не успев с головой под землей скрыться.

Пришла очередь Куземке лезть. Как сесть в ременную петлю, постелил он на нее отцовскую шкуру и говорит:

— Если я закричу от страха, не тащите меня наверх, спускайте вниз!

— Ладно, ладно! — согласились братья.

Куземка сел на ремни. Скрылась под землей голова, братья тут же перерезали ремни. Захотела в углу черная баба, закаталась по шкурам. Подбежали к ней братья, перерезали ремни на руках и ногах. Вскочила черная баба и тут же юркнула в яму.

Выбежали из чума братья. Сели на упряжки и погнали оленей.

Куземка полетел вниз. Подхватила его старая оленья шкура и понесла по подземелью. Видит Куземка — черная баба летит за ним, хохочет. От смеха ее под землей гром раздался, посыпались камни, и видит Куземка: реки внизу текут широкие да пахучие, камни неземной красоты. Вдруг пронесла его оленья шкура возле огненного пламени. Осветило зарево все подземелье, зажмурился Куземка, прижался к шкуре, зашептал:

— Неси меня, шкура, в родные места! Неси меня к нашему солнышку, к широким рекам, к тайге неси! Неси меня к моему отцовскому чуму.

Услышала его слова шкура, повернула обратно. Промелькнула черная баба да и затерялась, а на ее месте светлое пятнышко образовалось. Ближе и ближе подплывает оно, и не пятнышко, а девка кружится. Ягушка на ней нарядная, узорами расшита, шапка соболья, косы длинные, до пят.

— Миснэ это наша, что ли? — подумал Куземка.

— Как ты попала сюда, лесная фея моя?! — закричал Куземка. — Тебе что, не любы леса наши, Миснэ?

Закружилась оленья шкура. Летит мимо нарядной девки, не останавливается. Приподнялся со шкуры Куземка, посмотрел

рел на красивую девку и увидел у нее глаза черные — искры огненные в них так и прыгают! Баба черная!

— Уходи! — закричал во весь голос Куземка.— Ты не Миснэ! У Миснэ глаза — озеро. У Миснэ косы — золото. Не подлетай ко мне, баба черная!

Достал Куземка лук и выстрелил. Попала стрела в бабу, и раздался под землей гром. Покачнулись черные реки, взвилась над Куземкой черная баба.

— Не улетай, Куземка! — закричала баба.

— Не надо мне твоего земного тепла! — кричит ей Куземка.— Домой хочу! Беречь оленей и зверей в лесу, поляны и реки!

Поднялась оленья шкура и в чум Куземку доставила.

Обрадовался Куземка, свернул оленью шкуру и унес в лабаз. А сам стал спокойно в родных местах жить.

Говорят, вскорости где-то земное тепло и вправду добывать стали, видно, Куземка показал его людям.



*Окончил северный факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Стихи публиковались во многих газетах и журналах, в альманахах «Молодой Ленинград», «На дальнем Севере», «Сибирские просторы». Сейчас готовит к изданию две поэтические рукописи и повесть о геологах.*

**Мансийской сказительнице  
Анне Митрофановне Коньковой**

• • •

На кедре рухнувшем растет  
Такая крохотная елка.  
Роняет ствол который год  
На землю ржавые осколки.  
Я вижу тот последний час  
Большого дерева на свете:  
Прощальный взгляд зеленых глаз,  
Прощальный взмах усталых веток.  
Как опустело на земле!  
Хотя, смотри, деревьев сколько...  
И чудо! — утром на стволе  
Родилась крохотная елка.  
Она пришла сюда на зов  
Моей души, тайги и солнца.  
Бессмертны мы:  
Мы в тень веков  
Уйдя,  
Лесами в мир вернемся.

## ОСЛУШНИК

У той, у запретной черты,  
Кедровник — вечерняя сказка.  
Его стережет от беды  
Стрелы напряженная пляска.  
Я — вкрадчивый шорох — сейчас  
С котомкой-луной за плечами  
Пройду за черту, не таясь,  
С распахнутыми глазами.  
Дрожанье поймал темноты,  
Чутьем уловил обостренным...  
Но мне не унять маеты  
Души и мечты оскорбленной.  
Грохочет души барабан,  
Подобно апрельскому грому:  
Обман — ба-бам, обман — ба-бам,  
Шагнул — будто падаю в омут.  
Шагнул я, ослушник, — молва,  
Но нет уж атаки и тыла:  
Охранной стрелой тетива  
Уже облегченно заныла.  
И память тот отсвет беды  
Запечатлеет на камнях:  
В руках — по куску темноты,  
В глазах — онемевшие тайны.

## РЯБИНОВЫЙ

### ПИР

Спешите же, дрозды,  
Пока горячи,  
Как угольки костра, плоды рябин.  
И скрипка иволги от счастья плачет.  
И кто-то по тропе идет один.

Быть может, я. Кому же быть другому.  
Прощанье чую, вот и в лес спешу.  
Я приобщаюсь к празднику лесному.  
Огня рябины у дроздов прошу.  
И пир горой.  
И хочется с улыбкой  
Леса обнять и друга приласкать.  
Бей, дятел, в барабан!  
И пой от счастья, скрипка!  
Горят рябины.  
Им пора сгорать.

\* \* \*

Где же подлости мера, скажите,  
Если нам изменяют друзья?  
В дверь мою вы теперь не стучите,  
Стал отныне затворником я.  
Тихо-тихо,  
И неба не вижу.  
Я живу в одиноком дому.  
Сам теперь никого не обижу  
И обиду ничью не приму.  
Я отрекся от белого света,  
Я не верю ничьей красоте...  
Запах спелой морошки и кедров  
Невзначай до меня долетел.  
Что такое случилось?  
Я вижу  
Снова  
Милые с детства края,  
Голос леса весеннего слышу  
И раскаяньем мучаюсь я.  
Я прощаю жестокость обиды,  
Вас прощаю, бывшие друзья.  
Ветры, дверь поскорей распахните,  
Так по грозам соскучился я!



• • •

Под куполом ночного неба  
Хоть раз, дружище, полежи.  
Забудешь про истоки гнева  
И обретешь покой души.  
И в час распада на осколки  
Ночной восторженной звезды  
Поймешь, что ты,  
Как мир, расколот  
На бездну счастья и беды.

\* \* \*

Смотри: подснежники апреля  
На тропке водят хоровод.  
На зов их радостный и смелый  
Моя любимая идет.  
Она пришла, таежный зимник,  
В моей руке ее рука.  
И, видно, грянут нынче ливни —  
Пьет воду радуга-дуга.  
Она цветет, горит над нами.  
Так безмятежны стали дни.  
И снятся, снятся мне ночами  
И соболя, и бег лыжни.



*Автор нескольких поэтических сборников, изданных в Омске, Новосибирске, Свердловске. Живет и работает в Тюмени, по специальности военный врач. Сейчас готовит к изданию книгу прозы.*

## **УСЛОВНЫЙ ПРОТИВНИК**

### **1**

В атаке нет пути назад,  
Как ни мгновения  
для страха.  
Над гулкой пропастью  
висят  
Отполированные  
траки.  
В них скоростей высоких зуд,  
Уже в бою  
наполовину,  
Они по воздуху  
несут  
Разгоряченную  
машину.  
Ее порыв рисков и прав:  
Ночь громоздится у порога,  
И не расходятся  
в горах  
Без столкновения  
дороги.

Солдат идет на разговор —  
Ни уклониться,  
ни укрыться.  
Во все глаза  
молчанье гор,  
Молчанье века  
ловит триплекс...

**2**

Тяжелое пламя отринет —  
И вновь упадет  
на броню.  
Сжигает  
условный противник  
Дорогу  
в условном бою.  
Сломался,  
Не вынес нажима.  
Но праздновать рано —  
не даст!  
Отбрасывает  
машину  
На черные скалы  
фугас.  
Хребет проседает,  
охнув...  
А где-то есть тишина,  
И в мирных доверчивых окнах  
Огни зажигает  
она.

**3**

Костры — как наведенные мосты.  
Привал — как дом,  
в котором свет не гасят.

Издалека ко мне приходишь ты  
В несмелости всегдашней  
И всевластье.  
В твоих глазах —

лесная тишина

И полутени сумерек вечерних.  
И кажется, что ты отражена  
Рекою с остановленным теченьем.  
И мне одно  
На голубом и алом,  
На грозовом моем материке,—  
Чтобы случайной зыбью не сломало  
Живое отражение в реке.

4

Полк

батальоны

двинул

В серый сырой рассвет.

Есть

условный

противник,

Долга

условного

нет.

Кто здесь чего под дождями

В годы какие искал?!

Хмурое

выжиданье

Ошеломленных

скал.

Просто так не пропустят,

Испытают

собой...

И обостренной чувство

Родины

за спиной.

Еремей  
Айпин

## СТАРШОЙ

Рассказ



*Окончил Ханты-Мансийское педагогическое училище и Литературный институт имени А. М. Горького. Сейчас живет и работает в Ханты-Мансийске, корреспондент окружного комитета по телевидению и радиовещанию. Печатался в журналах «Юный натуралист», «Юность», «Октябрь». Завершает работу над сборником повестей и рассказов.*

Шум двигателей усыплял Никиту Ларломкина, словно колыбельная песня. Такую музыку, кроме буровой, он нигде не слышал. И тотчас же просыпался, как только в этот голос вплетались посторонние звуки, резавшие слух.

В эту ночь Никита проснулся от натужного рева дизелей — они работали на пределе. По звуку — подъем инструмента. «Обороты, обороты добавь!» — молил он дизелиста. Но тот не подходил — то ли задремал, то ли отлучился куда. И дизели, еще раз всхрипнув, заглохли.

Никита накинул телогрейку и выскочил в стужу декабрьской ночи, пожалев, что не встал сразу. Бросился под навес и запустил дизели. «Подниму инструмент, все равно теперь не уснуть», — подумал он и кивком головы указал помазку<sup>1</sup> на электростанцию, освещавшую жилые балки и вышку. Тот сонно и молча взялся за ветошь. А дизелист предпочитал пока не попадаться на глаза старшому.

<sup>1</sup> Помазок — помощник дизелиста.

Дизелисты немного побаивались и недолго любили Никиту за угрюмый характер и излишнюю требовательность. Называли его просто Старшой, хотя по смуглому скуластому лицу не дашь более тридцати. А ему и было-то всего двадцать шесть.

Когда был поднят инструмент, на небе бледно занялась декабрьская заря. Никита так и не ушел спать. Какой тут сон, если сегодня добуриваются последние метры. Бригада улетит на новую скважину, а он останется здесь — старший дизелист Никита Ларломкин. Останется, чтобы не расставаться с дизелями. Можно, конечно, слетать на базу и вернуться с испытателями скважины. Но он не любит болтаться без дела. Такая уж судьба у старшего дизелиста — временный член любой буровой бригады, куда дизели — туда и он. Прилетят монтажники, разберут вышку, чтобы перекинуть на новый участок. А Старшой всюду сопровождает свои дизели, отвечает за них головой, ведь буровая без них — мертвая вышка. И на эту работу ставят всегда людей надежных, с большой практикой.

На обед Никита пришел последним — задержался в дизельной. Повариха вновь, в который уже раз, пожурила его:

— Далась они тебе, Никитушка, машины эти — опять все остыло!

Никита виновато улыбнулся: мол, в желудке все согрется... — Расстанемся, значит, завтра, — сожалела повариха, гремя мисками. — А женить тебя так и не успели — вон какие у нас коллекторши, невесты что надо! Ведь ты со своими машинами так бобылем горьким и останешься! Помни ты мои слова! Сколько метров набурили — не счесть! Теперь на другой буровой кто тебя кормить будет, горе ты мое луковое!..

Никита молча обедал.

К нему подсел вошедший в столовую мастер:

— Ну что, Старшой, останешься в бригаде?! Я, брат, из тебя такого бурильщика сделаю — все рекорды твои будут! Станешь первым хантыйским бурмастером. Ну как?!

«Какой из меня бурильщик? — подумал Никита.— Хитрит старик. Хитрит. Собака не тут зарыта...»

— У меня глаз... вижу, кто на что способен. Редко ошибаюсь, Старшой,— продолжал мастер и, чуть помолчав, поддразнил Никиту: — Бурильщик главный — на первом месте. А что твои дизеля — ты от них вон промаслился насквозь, просолярился, того и гляди вспыхнешь ненероком!

— То — сердце буровой! — веско выговорил Никита, подумал: «Сам будто не знает».

— Так ведь сердцу нужна разумная голова, Старшой?!

Никита пообедал и снова подался в дизельную.

— Чудак наш Старшой,— сказал мастер после его ухода.— Хлопотно с дизелями-то, особенно зимой, измаялся, не понимает парень своей выгоды.

— Мнится мне: просто не хочет понимать,— вздохнула повариха.— А так он всем мужикам мужик, только вот на баб не смотрит почему-то...

— А-а, в тихом омуте сама знаешь, кто водится...— съехидничал мастер.

На другой день буровиков сменили испытатели, затем прилетела бригада монтажников — начался демонтаж буровой.

Никита Ларломкин все эти дни занимался мелким ремонтом в своем хозяйстве — «подтягивал гайки и винтики». Был он доволен: машины находились в хорошем состоянии, хотя немало поработали. А он наконец-то сделал заначку — собрал кой-какие запчасти и теперь мелкие да, пожалуй, и сложные поломки может устранить сам. И как удачно пробурили эту скважину: почти на два месяца раньше срока выполнили план проходки!

По вечерам он долго не засыпал от непривычной тишины.

Во сне дизели жалобно, с отрывистым запоздалым стоном звали его на помощь, и он вскакивал с постели среди ночи. Но, кроме завывания ветра за окном и глухого шума тайги, ничего не было. Он лежал с открытыми глазами до

тех пор, пока его не начинала убаюкивать тихая и нежная песня стальной упряжки. И утром он просыпался бодрым и веселым, с необыкновенной легкостью во всем теле.

Стояла странная зима: середина декабря, а настоящих сибирских морозов еще не было. Оттепели сменялись обильными снегопадами. Земля долго не твердела под снегом. Поутру на болотах из-под сугробов вырывался белесый пар. Округа еще дышала, не омертвела вконец.

Утром, выйдя из балка, Никита чутьем коренного сибиряка понял, что зима повернулась другим боком: вот-вот ударит мороз. Снег стал серебристей, светлей. Суровый ельник замер в ожидании чего-то — не шелохнется ни одной иглой. Только беззаботный дятел звонко гремел на всю тайгу.

На закате Никита убедился, что не ошибся. Как говорят местные жители, солнце «надело варежки» — появились протуберанцы. «Пора уж, пора,— подумал Никита, запахивая телогрейку.— Какая зима без морозов?!»

Ночью его разбудили не дизели, а простуженный женский голос, до боли знакомый. Он никак не мог понять, сон это или явь. Только подумал: «Она». И эта мысль на мгновение парализовала его. И потом, когда отпустило и он вдохнул воздух, все равно не решался взглянуть на нее. Придя в себя и окончательно проснувшись, он взял с протянутой руки лист бумаги. Он не прикоснулся к ее руке, но почувствовал, что она холодна. Пришла дурацкая мысль: «Нет варежки?»

Буквы долго прыгали перед глазами, и смысл написанного дошел до него не сразу. Это была подписанная начальником экспедиции радиограмма: приказывалось срочно доставить дизели на скважину Р-19. Подумал: «Почему она приехала?.. Кто дизели запарол — Семенов? Коваленко?..» Он знал, что эту скважину во что бы то ни стало должны сдать до новогоднего праздника — конец года, план, премии. «На орден жмет,— подумал Никита о начальнике.— Замучили со своими рекордами, только технику гребят!»



— Когда? — задал он ненужный вопрос, чтобы услышать ее голос и по интонации определить, как ему быть.

— Монтажники уже грузят,— сухо ответила она, выходя из балка.

В двери ворвался сизый клуб морозного пара.

Одеваясь, Никита все думал о ней. Прошло более трех лет с той весны, как она ушла от него. Ушла и бесследно исчезла, как в воду канула. И жили вместе почти два года, вроде и ссорились-то редко. Правда, иногда упрекала: «Ты все о машинах думаешь» или «Почему ты меня все зовешь Татьяна да Татьяна?» На такие, как ему казалось, мелочи он не обращал внимания...

Везли дизели на двух тракторах с саночными прицепами. Грунтовая, недавно проложенная дорога была в заносах и ухабах. Трактористы, как черепахи, вгрызались в сугробы, буксовали, но все-таки тихонько ползли вперед. Никита сидел в кабине второго трактора рядом с водителем Венькой, мужичком неопределенного возраста с пухло-бледным лицом. Все его движения неуверенные, какие-то корявые, а фигура — помятая, будто нет костей. Чем-то напоминал изношенный коленвал — мало толку, но и выбрасывать жалко.

Мысли снова вернулись к Татьяне. С каких пор она стала трактористкой? Была техником-геологом, училище окончила, а технику, помнится, не любила. Где прожила она эти три года, чем занималась? Живет ли с кем-нибудь? Может быть, Венька — ее муж?.. Нет, не похоже. Она почти не изменилась. Только черты лица стали не по-женски жесткими и решительными да блеск глаз острее, колючее — верные признаки одинокой женщины. Вообще-то никогда не угадаешь, что пережила женщина и что у нее на уме...

Мороз все набирал силу: тракторы плыли в облаках серого тумана. Бока железной печурки в кабине малиново накалились. Венька торопливо швырял в огонь короткие сосновые чурочки и поминутно одергивал полы затасканной шубенки. Но холод со всех щелей неутепленной кабины протягивал свои руки. Никита поглубже нахлобучил шапку-ушанку,

уселся поудобнее. Ему зябко не от холода, а от мысли, что рядом находится человек — то ли свой, то ли чужой, — который знает всю его подноготную. И хотя в его короткой биографии в двадцать шесть лет нет ничего предосудительного, он никогда не рассказывал о себе.

Ничего необыкновенного в его жизни не было. Вырос в глухой охотничьей деревушке, воспитывался у тетушки. Все началось с маленького подвесного моторика. Его привез из районного центра дядька — тетушкин муж. Детвора ни на шаг не отходила от хозяина, когда тот копался в моторе или запускал его. Это было в диковинку не только детям, но и взрослым охотникам. Однажды мотор забарахлил — не заводится, да и только. Бензин идет, искра есть, а работать не хочет. Полдня бились, собрали всех мало-мальски разбирающихся и совсем не разбирающихся в технике. Дело не сдвинулось с места. Наконец Никита глухо сообщил, что колечка медного нет на свечке, оттого-то и не заводится мотор. Не поверили охотники, но все же надели на свечу прокладку, навернули как следует. Дернули раз, другой — и запыхтел мотор. Тут решили старики, что лучше Никите быть не охотником, а «машинным человеком».

В четырнадцать лет он уже знал хорошо устройство всей «техники», бывшей в деревне, начиная с электростанции и кончая киноаппаратурой в клубе. Через год собрал свой первый двигатель из металлолома. Поработал он всего минуты две-три, не больше, — разлетелся на куски. Но память оставил — рваный шрам на левой щеке.

Потом плавал мотористом на местном катеришке, поскольку желающих работать на нем не находилось. Двигатель держался на честном слове: всевозможных пробок и затычек деревянных было больше, нежели металлических. Но Никита не унывал и ладил с этим мотором до той поры, пока деревянный корпус старого катеришки не развалился. Затем сейсмопартия, а позже пришел на буровую помощником дизелиста.

Декабрьский день короток, как первый шаг младенца.

В третьем часу пополудни на тайгу надвинулись сумерки. Фары бледными лучами выхватывали стылые сугробы, продрогшие стволы и оледеневшие лапы таежных елей.

Лес мертвел от холода. Ни зверей, ни птиц не слышно.

В потемках переезжали реку по бревенчатому накату, вмороженному в лед еще в ноябре. Когда головной трактор выбрался на другой берег, Венька тронул свою машину. Он чаще обычного переключал скорости, чтобы быстрее миновать опасный участок пути: бело-ледяная река угнетающе действует на человека, особенно в жестокий холод, напоминая теплое лето...

Почти у самого берега прицепные сани с дизелями съехали с обледенелого наката.

— Стой! — зарычал Никита, схватив Веньку за плечо.

Звонко хрустнуло железо — опоздал. Затрещал лед, и сани медленно, как бы нехотя, погрузились в реку. Когда Никита выскочил из кабины, все было кончено: из воды торчали цилиндры трех дизелей.

Течение играло свежесколотыми льдинками. Они звучно бились о серебристое железо двигателей.

Полынья выдохнула серое колючее облако.

В чаще гулко, как выстрелы в ночи, лопались от мороза сосновые сучья.

Вдруг стало жарко — Никита распахнул полушубок.

— Гони трактор на берег! — услышал Никита властный голос Татьяны.

Венька вздрогнул и засеменял к машине.

Татьяна возле трактора осматривала обломки лопнувшего по отверстию прицепа. Зачем-то вытаскала штырь, постучала по серьге, будто проверяла на прочность.

— Усталостный излом, — неуверенно выдохнул Венька из кабины.

— А морозный не хочешь? — насмешливо спросила Татьяна. Венька захлопнул дверцу. Они остались вдвоем.

— Застегни шубу, простынешь, — сказала Татьяна таким голосом, словно только вчера расстались. — Пошли на берег!

Никита молча повиновался.

Втроем теперь сидели у костра и пили крутой кипяток. Тепло разморило — слипались глаза.

— Ну что, Венька, хочешь искупаться? — спросила Татьяна. — Давно ты купался?

— Ей-ей, у меня ангина... Может, сгонять на буровую, так я мигом!

— Сгоняешь ты мигом по такой дороге. Да и там мало охотников найдется...

— Эх, если бы не ангина да не сердце... — вздохнул Венька.

— У меня тоже, между прочим, имеется сердце. И печенка есть, которая не любит ледяную воду. Как же быть?

— Кран бы сюда, — мечтательно протянул Венька.

— А костюм водолазный не хочешь?

— Пригодился бы, не отказался. А еще лучше — спиртику бы! Эх, тряхнул бы стариной!

— Тогда бы любой дурак полез, а ты не вспомнил бы про свою ангину и сердце, верно?

— В тайге дураки тоже на снегу не валяются, ценить их надо... Ей-богу, душа к косточкам пристыла!

— К пяткам, наверное, пристыла, а еще муж-жик!

Теперь при свете костра тьма стала густой и черной как смоль. Никита покосился в сторону полыньи, и сердце то-скливо защемило, словно уже окунулся в ледяную воду. Дизели никогда еще не подводили его, и он ни разу не подводил их. Неужели теперь придется бросить?

Железо при жестоких морозах становится хрупким и легко ломается. Человек выдерживает намного больше. Поэтому-то Никита любил сильные морозы: все никчемное погибает или убирается восвояси, свободнее, чище дышится. Теперь он впервые чертыхнулся и на мороз, и на железо прицепа. С чем придет на Р-19 он — старший дизелист? С неполным комплектом дизелей? Бурить-то ведь невозможно... Черт с ними, с их рекордами и премиями, — его никогда это не соблазняло. Главное, буровая без дизеля — мертва. По жилам

ее стальным нечем гонять живительный раствор, крутой кипяток, электрический ток, сжатый воздух. Нечем поднимать многотонный буровой инструмент. Никому это не под силу, кроме старшего дизелиста со своей стальной упряжкой.

Проклятая река, просто так она не выпустит плененные дизели...

Между тем услышал гневный возглас Татьяны: «Сама полезуй!..» — и подумал, что все-таки она очень мало изменилась и, пожалуй, наверняка полезет. Он хорошо знал ее характер.

Все эти годы тешил себя тем, что встретятся когда-нибудь. Как и при каких обстоятельствах — этого он не представлял. Оттого-то сегодня ночью долго не мог проснуться: думал, что это сон. Только вот почему они разговаривают меж собой так, будто его здесь нет? Может быть, уже обращались к нему, а он, занятый своими мыслями, просто не слышал? А они разговаривают как люди близкие, давно знающие друг друга. Неужели все-таки муж?

Выросший в тайге, Никита знал, какие могут быть последствия от этого купания. Но он слышал голос дизелей. Они звали его на помощь, звали жалобно, настойчиво. Так звали они обычно по ночам, когда он моментально просыпался. Только сейчас их голос был хриплый, приглушенный толщей воды, будто они захлебывались. Никита снял рукавицы, заткнул уши: они все звали, звали, уверенные, что он услышит. Никита облегченно вздохнул — теперь не будешь хитрить с самим собой, не будешь искать уловок. Деваться некуда...

Стоя у черной ямы полыньи и обвязывая себя веревкой, Никита взглянул на Татьяну, жену, которая ушла от него три года назад. От холода она будто накалилась вся, но мороз не исказил ее лица, а сделал черты резкими, суровыми и милыми, словно вдруг слилась с холодными снегами, декабрьским небом, с белой рекой, с гулким простуженным лесом, где отзывается малейший шорох. И, топчась у черной воды, Никите захотелось не ей, а чуткому лесу шеп-

нуть: «Люб-лю...» Ведь лесу ничего не стоит повторить, а он, Никита, ни разу не говорил Татьяне этого слова, все не было времени, да к тому же он стеснялся таких нежностей. Он покосился на Веньку — не украдет, не перехватит ли это слово? Но Венька с бормотаньем носился вокруг полыньи, подтягивая стальной трос, и, видимо, был рад, что сыскался «дурак», который добровольно лезет в ледяную воду. Ему было не до шепота ночного леса.

Завязав последний узел, Никита сообразил, что в воде-то ведь плюсовая температура, а наверху под пятьдесят. И он осторожно шагнул в тихо журчащую бездонь реки, внушая себе, что там теплее...

Когда он выбрался из воды, то сразу окутался сизым паром, будто загорелся вдруг, одеревеневшим языком вы-талкивал:

— Са... ни... примм... ерзнут... выттт...

Венька кинулся к трактору.

Татьяна схватила Никиту за руку — повела к костру. Ее рукав с каждым шагом все крепче примерзал к оледеневшей телогрейке Никиты.

Мороз свирепел.

Но звезды сияли на небе приветливо и тепло.



*Живет и работает в Тюмени. Инженер всесоюзного объединения Тюменьлеспром. Стихи печатались в центральных газетах, были опубликованы в чехословацкой и болгарской прессе, в журналах «Сельская молодежь», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Урал». Изданы четыре поэтические книжки. Сейчас работает над пятой книгой.*

## ПИСЬМА ИЗ ТАЙГИ

### 1

Нас охотник обидой пытал у костра.  
Боль была его злою тревогой остра.  
Говорил он о прошлом достатке лесов.  
Свет блуждал по лицу,  
Словно блики веков,  
И тонула в округлой печали зрачка  
По непуганой рыбе и зверю тоска.  
Он машины винил,  
Он забыл рассказать,  
Как увез самолет заболевшую мать.  
А в горячке металась селенья вокруг.  
От болезни спасая их, умер мой друг.  
Как пришли на машинах ребята потом,  
Подарили охотнику каменный дом.  
Его дети постигли величие книг.  
Умолчал он об этом,  
Упрямый старик!

## 2

Случаются такие вечера,  
Когда, усевшись на привале кругом,  
Буровики притихнут у костра,  
Как будто став чужими друг для друга...  
В минуты эти их не потревожь.  
Как птичьи косяки в осеннем дыме,  
В летящих перьях медленных порош  
Любимых голоса плывут над ними.  
И скрытой грусти полон каждый жест  
И тихое задумчивое слово.  
Нет ничего значительней окрест  
Усталого молчания мужского.  
А где-то, за глухим кольцом болот,  
Любимым снова снятся наши лица.  
Мы, возвратившись к милым,  
каждый год  
На Север улетаем,  
словно птицы.  
И оттого при встрече жены вновь  
На нас глядят с тревогой ненапрасной...  
А что такое вечная любовь,—  
Как не боязнь разлуки ежечасной?

## 3

Понимаешь,  
Снова хмур, как идол,  
Дед нагрянул вечером одним.  
Закурил.  
И крыльями седыми  
Нас обвил густой табачный дым.  
Говорю:  
— Опять ты будешь вздорно  
Все ругать в глаза и за глаза?  
А ведь сам тропинки к Самотлору



Прошлый год на карте указал!  
Начал дед шаманить, подвывая,  
Да умолк

и насмешил народ.

Он уже легенды забывает!  
Имена богов не назовет!  
Пусть сидел он в малице старинной,  
У костра следил я не дыша,  
Как рвалась из душных шкур звериных  
К позывным приемника душа.

#### 4

Такой мороз, что вздох пристыл к губам.

Ждешь:

Лунный свет под шагом звякнет длинно,  
И будешь воздух есть, как строганину,—  
Он ломтиками тает на зубах.

И сухо цепенеет Млечный Путь.

Дунь ветер — он осядет снежной пылью.

И птицы прячут головы под крылья,

А утром шей не смогут разогнуть.

Похрустывает воздух от шагов.

И потепленья древним ожиданьем

Пульсирует Полярное Сиянье —

Неясные сказания веков.

. . .

Вы бураном запугивать бросьте!

Только-только прохрупал ледок,

Белый зверь к нам повадился в гости,

Мягкой лапою бил о порог,

В окна звездные очи тарачил,

Без разбега на крышу взлетел,

И кружился,

и прыгал по чаще,  
Шелестел, завывал, гоготал.  
А к утру раззевался он хмуро  
И устало на землю прилег.  
Вышел я —  
Шевелилась у ног  
Богатырская белая шкура.

**А. К.**

\* \* \*

За туманами кони ржут...  
На охапке травы лежу.  
Угли звездны, уха остра.  
Детство греется у костра.  
Камышами шуршит волна.  
Колобком проплыла луна.  
Я за сказкой ночной слежу.  
За туманами кони ржут...  
Пусть года пролетят.  
Не вдруг  
Позабуду друзей, подруг,  
Но вовек забыть не смогу —  
Тени, ржание на лугу.  
Если спросят меня:  
— Какой  
Край родимый, любимый твой?  
Я о Родине так скажу:  
За туманами  
кони  
ржут.

## **ВЫПИ**

На кочках корягами замерли выпы,  
Крученые шеи просунув меж звезд.

Рябым  
не оплакать весь сумрак,  
не выпить,  
Продрогли их лапы от пасмурных рос.  
Усатый тальник серебрится у поймы,  
Далеко  
шумы буровых унесло.  
Все визнают выпя,  
все выпя запомнят.  
Рассвет перевалил  
с крыла на крыло...  
И в хлопанье,  
свисте  
простор затворится.  
Воспрянувший день отряхнется от рос.  
Но завтрашней ночью  
опять повторится  
Согласие тонкое  
выпей и звезд.

\* \* \*

Иртыш,  
Иртыш!  
Тебе ли быть угрюмым,  
Текущему сквозь дали  
и века?..  
И тишиной таежной,  
и раздумьем  
Хантыйские повиты берега.  
Уходит полуночная тревога.  
Легенды остаются навсегда.  
А ты —  
просторной, плавною дорогой  
Выводишь нас к подросткам-городам.  
А сам уходишь.

В теплоходном гуле  
Тебя не слышно.  
Даже ветер стих.  
И бакены,  
как в продолженье улиц,  
Светло горят  
в фарватерах твоих...

### СТАРИЦА

Назвали старицей —  
А зачем?  
Никак не старится  
Тот ручей.  
В зеленой роздыми  
Кедрача,  
В густой смородине  
До плеча.  
Ах, эти стежки,  
Пески —  
седы...  
Что есть моложе  
Живой воды?



*Журналист. Живет и работает в селе Ярково, сотрудник районной газеты. Печатался в газетах. Работает над новым циклом стихов.*

\* \* \*

Человек наклонился к земле —  
и услышал траву.  
«Ерунда», — он подумал.  
А было оно — наяву.  
«Показалось, — решил он, —  
я сутки вторые без сна, —  
Вот с того-то и кажется,  
будто бы плачет она».  
Человек докурил — и ушел,  
приминая траву.  
И вздохнула трава ему вслед.  
Тяжело.  
Наяву.  
Позвала — не услышал,  
Откликнулось эхо: «Война...»  
И опять позвала.  
И услышала голос она:  
«Ерунда», — он подумал.  
Ушел, приминая траву...  
А всего через час  
человек был убит.  
Наяву.

### ПЛОТНИК

Скрип да скрип.  
Да надбавьте еще полскрипа, —

Вот и вышел без малого весь портрет.  
Шесть десятков,  
        а грудь на ветра открыта!  
А скрипит при ходьбе,—  
        так ноги ведь нет...  
Не смотри, что веселый,—  
        он в деле строгий...  
Приглядишься — и покажется невзначай:  
Не избу —  
        это заново жизнь он строит,—  
По-российски — вразмах,  
        со всего плеча!  
Только — стены сочатся  
        смолою горькой,  
Только — избы минувшей живут войной.  
И не щепки взлетают под небо — годы,  
Кувыркаясь...  
И — светятся за спиной!..

\* \* \*

Так птица удачу пытается —  
охотничьим выстрелом:  
Живую осталась —  
ну, значит, опять повезло...

Не верилось в чудо,  
а все-таки выстоял,  
выстоял  
На радость кому-то  
и, может, кому-то назло,  
А было:  
деревья — и те объясняли мне жестами,  
Что стон о потере —  
предсмертному хрипу родня!..  
вчера

я на улице встретил  
печальную женщину,  
прошедшую с грустной улыбкой  
Мимо меня.  
Прошла — и забылась,  
прошла — и нечаянно вспомнилась.  
Назвать захотелось по имени,  
но — не назвал...  
Ну, что же!  
В рассветы  
иными нам кажутся полночи,  
В рассветы  
иные рождаются в людях слова.  
С того-то, наверное,  
я перед потерю выстоял,  
На радость кому-то,  
а может, кому-то назло...  
Так птица удачу пытается —  
охотничьим выстрелом:  
Живою осталась —  
ну, значит, опять повезло...

\* \* \*

Знакомство.  
Обычное, в общем, знакомство дорожное,  
Где в меру о каждом —  
меж двух перегонов —  
доложено,  
Где правдою платят  
за вымысел каждый попутчика,  
Где только о прошлом,  
а все остальное — опущено.

Всего лишь — знакомство.  
А где-то внутри — сожаление,

Что едем одною дорогой,  
да в двух направлениях.

Что делим вагонный уют,  
показное радушие...  
и очень боимся  
свое показать равнодушие.

Всего лишь знакомство...  
Оно оборвется на станции.  
Там с поезда кто-то сойдет,  
ну а кто-то — останется.

И где-то в дороге,  
познав сожаление позднее,  
Захочет вернуться...  
И все же — останется.  
В поезде.

\* \* \*

Не успел — задержали дела  
и внеплановый дождь.  
Не успел — прилетел не на провода,  
а на поминки:  
Старый дом наш — снесли.  
Самым древним он был,  
этот дом  
Посреди отгулявшей свое слободы Лебединки.  
...Вот надломленный вяз.  
Не под ним ли мой сиживал дед?  
(Не его ль стариковская грусть  
Мне в наследство досталась?)  
Я у дедовых ног  
отдыхал от мальчишеских дел,  
Гладил землю вечернюю...



И — проходила усталость.  
А потом,  
а потом раскрывалось неспешно окно,—  
Это бабка звала нас  
к вечернему, долгому чаю...  
Старый дом наш — снесли.  
Ну а дед мой — он умер давно.  
Переехала бабка...  
Я часто ее навещаю.  
Я, пожалуй, зайду к ней сегодня.  
С бутылкой вина.  
Не с печали оно,  
а с дороги, наверно, с дороги...  
Я — под вязом сижу.  
Глажу землю у ног.  
Тишина.  
От мужских своих дел  
На родном отдыхаю пороге...

\* \* \*

...И когда я устану придумывать  
новые дали,  
Я у самой дороги на камень присяду,  
как Данте.

Но взгляну не на пройденный путь,  
а на тот, что не пройден,—  
Может, грусти не будет о том,  
что оставил я в прошлом.

И с того, может быть,  
мне покажется глупой усталость,  
Что впервые случайно пойму,  
сколько жить мне осталось...

**Анатолий  
Киршов**



*Живет и работает в Нефтеюганске, плотник ЖКК треста Нефтеюганскгазстрой. Стихи публиковались в газетах.*

...  
Моя душа не карта:

не осталось

В ней белых пятен к сорока годам.  
Но, как вода, в ней совесть отстоялась,  
Но, как цветы, созрела доброта.  
Не оттого ль навечно чувство долга,  
На белый свет рожденное со мной,  
Прошло через падения, восторги  
И стало самой главною чертой.

## **НА ЗАРЕ**

...Ружье с собой.

На пояс патронташ.

И — в чащу, где под черным боком мрака  
Простой, из прутьев временный шалаш,  
А в котелке зажаренная кряква.  
Ночной завесой скрыты от меня  
Гусей печальный крик и лебединый.  
Я замираю тихо у огня  
И слушаю прощальный клекот длинный.  
Рассвет откроет птичьи косяки,  
Летающие на южное приволье.  
И лист скользнет тихонько вдоль руки,  
Наполнив душу ясной, горькой болью.



*Талантливый журналист и поэт. Жил и работал в Ханты-Мансийске, был корреспондентом окружного радио. Опубликовал сборник стихов на родном языке под названием «Ханты». В 1971 году трагически погиб во время одной из своих поездок при переправе через Иртыш. Читателю предлагается цикл стихов из неопубликованного.*

### СЕВЕР МОЙ

Где б мои пути ни пролегли,  
Где бы ни встречал зарю свою,  
Слышу я дыхание земли,  
Чувствую его в любом краю.  
Подожгло ли золотом леса —  
Значит, час страды у деревень;  
Выпала глубокая роса —  
Это будет завтра добрый день.  
Пляшет ошалело поплавок —  
Значит, дождь почуяла река.  
Будет ли грибов и ягод впрок —  
Обо всем расскажет мне тайга.

\* \* \*

Тайгу разрезав синей лентой,  
Казым бежит вдоль древних чумов.  
Здесь рыба и зимой и летом,  
Как человек, погоду чует...  
Оленеводов повстречаю,  
А с ними я сердечно дружен,—

Накормят и напоят чаем,  
В беде помогут, если нужно.  
Все с детства близко и знакомо.  
Здесь я охочусь и живу.  
И все зову я просто домом,  
Что люди Севером зовут.

### **СОРУМ ОВ**

На Казыме яр крутой.  
Он легендами овеян.  
Прадеды сюда с собой  
Приносили дар деревьям:  
Деньги, идолов своих,  
Шкуру пойманного зверя...  
Интересно знать о них,  
Хоть и в бога я не верю.  
На Казыме Сорум Ов —  
Это место было свято.  
Слышал я от стариков,  
Охраняли лес когда-то.  
От случайных разных бед,  
От плохих людей скрывали.  
И за сломанную ветвь,  
Как за подлости карали.  
Слушаю об этом речь —  
Очень мудро все в легендах.  
Я учусь тайгу беречь  
У седобородых дедов.

\* \* \*

За работой девушка склонилась,  
Крутит нити прочные оленье,  
И звенят в руках оленье жилы,

Словно провода под напряженьем.  
Девушка кисы сошьет.  
И парень  
Их наденет,  
                                будет улыбаться:  
Как по проводам,  
                                на расстоянье  
Рук тепло от нитей передастся.

### НА ОЗЕРЕ

Как на сбруе на оленьей,  
На коре накрапы солнца.  
Раззадорен птичьим пеньем,  
Ветер лапой бьет по соснам.  
След ондатры в речке зыбок.  
Вечер кружит над водою.  
Лег чешуйчатый, как рыба,  
Млечный Путь над головою.  
За ресницами осоки  
Караси качнули сети.  
Под котла радушный клетот  
Душу мне костер осветит.  
Стихли птицы.  
Лес спокоен.  
Пусть их зло не потревожит.  
Кроме мира,  
                                что иное  
На земле всего дороже?

### ЛЕТИ, МОЯ ПЕСНЯ

Под небом хантыйским,  
                                над краем богатым



**Любовь  
Заворотчева**

## **МАШИН КОЛОКОЛЬЧИК**

**Очерк**



*Журналистка. Живет и работает в Тюмени. Очерки, рассказы печатались в газетах, журналах «Урал», «Сибирские огни». Сейчас готовит сборник художественных очерков о Тюменском Севере.*

Река Вах, восточный приток Оби, берет свое начало с того высокого водораздела, что называется Сибирским Увалом и разделяет реки бассейна Оби от Енисея. Места эти пустынные — лишь осенью, перед ледоставом, на длинных лодках-обласках сюда пробираются охотники-ханты. По обыкновению, никто из них не ведет счета пройденным километрам — немерян путь. Считают ханты по-своему, по старинке: «песками». После трех песков охотники пьют чай, после седьмого заваривают уху, а уж ближе к десятому спать укладываются. До верховьев выходит с десятков ночевок, и охотники вовремя попадают к открытию пушного промысла.

Красива таежная река Вах. Чем выше, тем суровой берега. Дальше Ларьяка, последней пристани, лишь в большую воду поднимаются катера. Это середина Ваха, какие-то шестьсот километров от Нижневартовска.

Да, даль осталась, но жизнь круто изменилась. Открытие нефти оживило берега Оби, буровые вышки наступают и на Вах. Ханты-Мансийский автономный округ ныне, по-

жалуй, самый богатый из округов. И не только нефтью и газом, лесом, рыбой и пушниной. Богат людьми — едут они сюда со всех концов страны. Но кому посчастливится подольше погостить в чуме рыбака на берегу Ваха, на всю жизнь запомнит ночные вздохи совы, крепкий чай из зверобоя и смородины и долгие разговоры у жаркого костра.

Самый отдаленный национальный поселок в Нижневартовском районе — Корлики. Всего километрах в ста проходит от него граница Красноярского края. Место на редкость глухое, тайга кондовая, урманная, — словом, медвежий угол. Живут здесь ханты — народ трудолюбивый, гостеприимный. Изменилась жизнь и в этих краях.

Многое хранит память людская. Только прикоснись к ней, и заговорит она подобно струнам «нарас-юха», неторопливо извлекая из глубин времени забытые голоса людей. Не найдешь на карте юрт Эмтор-Пугол, где жили рыбаки и охотники. Много подобных Эмтору было в те годы селеньиц в тайге. Юртами назывались. Красивые названия они носили: юрты Олений Бор, юрты Кулун-Игол, юрты Лапчинские. Деревянные дома в них по пальцам можно было пересчитать. В Эмтор-Пуголе, например, был всего один дом. Помнят старики эти юрты. Там прошли их детство и молодые годы. Туда пришла весть об отмене ясака.

Разбросанность юрт по тайге мешала уполномоченным Советской власти вести работу с коренным населением. Безграмотный народ больше слушал шаманов. «Глубинка» оставалась в их власти. И хотя в Эмтор-Пуголе была организована артель «Ударник второй пятилетки», государственный план сдачи рыбы и пушнины она не выполняла. Шныряли по тайге скупщики пушнины, по сговору с шаманами доставляли в скрадки товар, деньги, а взамен увозили «мягкую рухлядь». Первым председателем артели в Эмторе был неграмотный темный ханты Константин Иванович Прасин. Так решил родовой совет, так решил шаман Ефим Антонович Прасин, пятидесятилетний зажиточный скупщик пушнины. Во всем слушался Константин шамана.

Нет теперь Эмтор-Пугола, нет и других юрт, переехали



люди в крупные села, работают в Ларьякском кооперативном зверосовхозе.

Прасины, жившие в Эмторе, теперь всюду встречаются, так же как и Печиковы из юрт Васюгана. Не различишь, кто от какой родовой ветви. Дети в интернате вместе учатся, на каникулы в гости друг к другу ездят, а потом, глядишь, Каткалев из Корликов женится на Прасиной из Ларьяка. Мы теперь не очень-то задумываемся над этим, а ведь это тоже приметы новой жизни.

На окраине села Ларьяк высится памятник. Высокая стела увенчана звездой. На памятнике высечено: «Маше Петухиной — первой учительнице». А передо мной копия приговора окружного суда Ханты-Мансийского округа. И могила учительницы, и приговор этот — из тридцать девятого года.

Но узнала я об этом не в Ларьяке, а в Корликах. Звучат с той поры время от времени невидимые струны, давшие начало беспокойству, поиску.

Думала ли я, что двухдневная командировка в Корлики на долгие годы свяжет меня с этим далеким поселком?

— ...Горе-горе загрызаю медными зубами, железными губами. Эк тебя перекосило. Горе-беда! Грыз, грыз, загрыз! Чтобы день на исход, беда-горе на извод.— Дед повалился на пол, шумно дыша, быстро двигая челюстями.

— Спасибо, дед! Уходился ты, однако. На вот, капли прими,— Володя улыбнулся, протянул деду мензурку.— Вот так и шаманили. Я помню, как в войну к деду этому женщины ходили, просили пошаманить насчет мужей.

Владимир Прохорович Хохлянкин — местный фельдшер. В его ведении — амбулатория и маленький стационар. Володя свой, местный фельдшер, после школы поступил в Ханты-Мансийское медучилище, поэтому и лечиться к нему идут охотно.

— А что, Володя, перевелись теперь шаманы?

— Давно! — махнул рукою фельдшер.— Едет рыбак на лов, для чего к шаману пойдет? Лодка у него с мотором.

Почти у всех «Вихри». Снасть капроновая. Чего у шамана теперь просить? Все у ханты есть. Заболел кто — я круглый год патрулирую. Зимой на оленях, летом — на лодке с мотором. Операция необходима, связался по рации с Ларьяком — вертолет тут как тут. А дед в свое удовольствие сейчас поскакал, ну и вам для впечатления.

Мы смеемся. Дед садится рядом и тоже улыбается. Маленький, сухой, похожий на карликовую березку, легонький для своих древних лет. В свободное время он вырезает трубки, свою же не выпускает изо рта ни на минуту.

— Мой трубка очень старый. Видишь, какой черный. А вкусный... — Он блаженно прикрыл глаза и таинственным голосом сообщил:

— Сын в армии служил, из далекой стороны привез кусок дерева, а как зовут это дерево — забыл. Хорошие трубки вырезал. Старая голова стала... Трубки куришь — птицей летаешь! — Он вынул из кармана маленькую трубочку с орнаментом.

— На! Тебе! Кури!

— Я же не курю!

— Наши женщины курят, и ты кури, весели душу. Не нравится мой трубка?

— Да что там, трубка что надо!

Дед смеется. Доволен.

— Имулум, до свидания, пошел я.

Мы говорим с Володей о продолжительности жизни людей. И Володя приносит журнал, где у него отдельной страницей отмечены старики.

— Моя бабка умерла в сорок лет, я ее и не видел. Прабабка тоже умерла молодой — туберкулез сжег. А маме моей уже шестьдесят. Летом ее дома не найдешь, целыми днями в тайге. То бересту заготавливает, то ягоды собирает. Все старики у нас крепче, чем их предки.

Над Корликами повисли лохматые тучи, и я понимаю, что вряд ли завтра прилетит вертолет. В редакции ждут материал, и было легкомысленно забираться в этот мед-

вежий угол, рассчитывая вернуться через два дня. Февраль на Севере богат метелями.

В сельсовете жарко натоплено. На стене по-домашнему уютно тикают ходики. Устали прыгать на них влево-вправо кошачьи глаза, и кот замер. Я удивилась этой старине. Таких ходиков лет двадцать не продают в магазинах. На деревянной скамье сидит женщина в новой вязаной кофте. Она перебирает в платке какие-то бумаги. Роман Иванович Пыгатов, председатель сельсовета, уже ждал меня.

— Метель ночью будет, однако,— сказал он.— Небо сердитое.— Он выглянул в коридор.— Заходи, Марфа. Поговори вот с человеком, если мне не веришь.

Дело у Марфы незатейливое. Внука воспитала, сама же благословила на учебу. А теперь сны жуткие видит каждую ночь. Будто идет куда-то ее внучек, идет, а на самом деле он все на месте стоит. И чем дальше идет так, тем ноги крепче к земле прирастают. И нет ей покоя. Был бы в тайге — спокойней спала.

Мы успокоили старушку, и она отправилась домой, пряча на груди письма внука.

— Про историю вот спрашиваешь... Марфа, она вроде тоже история и свидетель. При ней тут новая жизнь поднималась.

Тикают часы за стенкой. Тихо в сельсовете. Плотней подступают к окнам потемки, и словно кто невидимой, сильной рукой бросает в окно пригоршни снега...

— Пора, однако, домой идти.— Роман Иванович кивнул на окно.— Вихряет на улице. Ветер сильный. Пойдем, однако, пока дорогу видно. Потом рассказывать буду, как чай поьем.

В доме Пыгатовых тепло. У порога вздыхает собака. Иногда она вскидывается и остервенело щелкает зубами в густой шерсти. Вдрагивает чугунным телом печная вьюшка.

Метель плотно придвинулась к дому.

— Давно, однако, не встряхивало так.— Мы тревожно вслушиваемся в ветер.— Воет, гудит, как сто волков.— Пы-

готов помолчал.— Вот в такую метель, старики рассказывали, и потерялась тогда учительница, ликвидатор неграмотности.

— Кто она, девушка эта?

— Машей ее звали. Машей. Говорили: красивая была девушка.

Нетороплив рассказ, а я все спешу запомнить, все записать.

...В Эмтор-Пугол Маша приехала по направлению Ларьякского отдела народного образования. Посоветовали ей открыть школу в доме председателя артели Константина Прасина.

— Я — ликвидатор неграмотности. Советская власть послала меня учить вас грамоте. Буду учить детей и взрослых. Не будете кедр рисовать, будете расписываться,— сказала Маша.

Со связкой книг и тетрадей, с маленьким фанерным чемоданчиком стояла она на берегу. Чумы, крытые оленьими шкурами, единственный деревянный дом и своры настроженных собак. Люди недоверчиво смотрят на девушку. Никто слова не проронил.

Утром следующего дня вышла Маша на крылечко и рассыпался над поселком перезвон колокольчика. Собаки лениво тявкнули, и снова все замерло. Тогда пошла Маша из чума в чум с колокольчиком и книжкой. Собрала ребят вокруг себя. Подарила картинки, книжку показала. И каждое утро стали ждать дети, когда звонок позовет в большой дом.

Вечерами ходила учительница из чума в чум. Кому поможет хлеб испечь, кому цветные картинки покажет, о новой жизни речь заведет. Отбелковали мужчины, пушнину понесли председателю артели Косте Прасину. Примечает Маша: водкой платит Прасин, никакого учета сданной пушнине не ведет.

— Давай помогу,— предлагает учительница.

— Не женское дело,— отвечает председатель, сам на Машу зло поглядывает.

Маша на пороге дома встречает охотников, зовет ехать в Ларьяк, там за пушнину деньги дадут, все можно купить. В план артели зачтется. А будет план выполнен, государство новые винтовки даст, снасти для рыбалки.

— Хотите, рубашки вам сошью новые, а женам платья? — спрашивает Маша. — Поедем в Ларьяк, ситец купим, соль, муку...

Уговорила мужчин. Сели в нарты и поехали. Вернулись богатые. За пушнину много выручили. Вечером Маша собралась жен охотников. Раскроили ситец, ходит девушка, каждой показывает, как рубашку сшить. Допоздна женщины засиделись, унесли мужьям новые рубахи. Вот с того дня и принялись женщины бегать к Маше по всяким житейским делам.

В доме тесно. Константин Прасин с женой Екатериной, два брата шаманы Ефим да Григорий Прасины, их жены да дети. Григорий — старший. Бубен шаманий Григорий достаёт, когда Маши нет в доме. И зло ворчит старик, брызжет слюной на учительницу. Екатерина, хоть и молода, учиться не хочет, каждую ночь наговаривает мужу: мол, гнать ликвидатора надо из дома. Дядя-шаман Ефим велит Екатерине стол выбросить, чтоб негде было заниматься учительнице.

Утром звенит колокольчик. Идут в дом Прасиных детишки грамоте учиться. Злой наливаются глаза Екатерины. Григорий и Ефим разгоняют учеников, рвут учебники, топчут тетради. Мороз на дворе, а Маша в одном платье на улице — выгнали Прасины учительницу вместе с учениками. Обещал милиционер из Ларьяка приехать, шаманов забрать, да самого бандитская рука по дороге перехватила.

...Тайга! Тайга! Отзовись, заслони девчонку от зла, спрячь светлую головушку от летящего во тьме топора!

...А в доме все чаще погром. Все наглей пьяный окрик: — Учитесь? Русскую девку слушаете? Словами русским язык оскверняете? А ну, марш по домам!

Но вот ребятишки первое слово написали, все довер-

чивей жмутся к учительнице. И поет она им песни, веселые и грустные. И дрожат в уголках глаз слезинки.

Просит Маша у Кости Прасина оленей — в Ларьяк съездить. Председатель словно не слышит. Идет Маша пешком пятнадцать километров. Обрато возвращаетса — несет новые тетради и книги. Просит в сельсовете утихомирить шаманов. Уполномоченный приехал, «мирхат» — собрание созвали. Говорила Маша людям о злости шаманов на Советскую власть, призывала сдавать рыбу и пушнину в счет государственного плана.

— Артельный труд поможет наладить жизнь,— говорила Маша.

Как помочь людям понять: Костя Прасин не приказчик. Он — председатель артели, от него зависит организованный труд людей. А он, Константин, пьянствует, шаманов слушает. И люди не спешат на общее дело. Некому их собрать в настоящую артель. И если Костя раздал винтовки государственные, то государство ждет взамен пушнину. Уполномоченный увез протокол собрания. А Маша опять одна в продымленных чумах.

Каждый день занятия с детьми. Терпеливо учит Маша писать взрослых.

— Вот выучитесь, сами прочитаете про Ленина. А на следующую зиму поедете в Ларьяк учиться,— говорит учительница детям.— И энкин, и апэн, и атим, и каким, и ани — мама, папа, старший брат, младший брат, сестра — все поедут жить в Ларьяк. Там в магазине много-много сахара, конфет. Захотел — попросил у «энкин» — матери «вох» — денежку и пошел в магазин. Продавец рад: «Возьми, «тюле» — моя хорошая, ешь». А где «питыхан» — пьяный Григорий? «Антемики» — нет. «Имулум» — до свидания, Григорий! — дети смеются, и Маше радостней от этого смеха.

И снова шла она к людям. Уговаривала ехать жить в Ларьяк, там дома деревянные, не надо всю ночь у очага сидеть, тепло стеречь. Жить хорошо. И нечего бояться шамана. Не нагонит он на детей хворь, силу у охотников не отнимет.

...Ночью вспыхнул дальний чум. В одночасье сгорел. Никто не успел выползти из яростного, взбесившегося огня.

— Сердятся верхние люди. Зачем ликвидатора слушаете? Надо вам уши залить медвежьим салом, арканом ноги спутать детям, чтоб не бегали за Машкой. Вай-вай! «Тхае-пити» — смерть на ветках сидит, смотрит Машкиными глазами! — с уха на ухо пустили слух шаманы.

— Не слушайте их, люди добрые! — хотелось крикнуть Маше. — Напоили допьяна всю семью из дальнего чума, даже детям велели «винку» пить. Вот и выполз огонь из очага. Вот и горе.

Все чаще попойки в доме Прасиных.

— Ликвидатора надо гнать! — в голос говорят Григорий и Ефим.

Двадцать восемь лет Екатерине, во всем слушает шаманов, люто Машу ненавидит.

— Гнать, гнать, гнать! Не хочу, не хочу, чтоб в нашем доме учительница жила.

— Худая жизнь. Народ в рыбкооп дорогу все шире топчет. Ребятишки вольные. Гнать надо Машку. Язык ее острый всех достанет.

И день, и два пьют Прасины.

— Нам учиться не надо! Слышишь? — кричит Ефим.

— От темноты своей вы ненавидите меня. — Только и сказала Маша, когда набросились на нее пьяные Прасины. Оделась и пошла в Ларьяк. Поземка у ног волчонком крутилась, ноги арканом сплетала. Не пускала Машу.

— Машка пошла на нас жаловаться. Слышишь, Костя, — Екатерина выпила водки. — Я сегодня ее стол выбросила. Она села и что-то писала. А сейчас в сельсовет пошла. Заявит, что мы ее избili...

— Надо ее догнать... Надо ее догнать и... убить! — Григорий, покачиваясь, встал. За ним поднялись Ефим и Константин. Запрягли оленей в нарту и пустились вдогонку.

...Шла Маша в поземке и вдруг тихий звон услышала. Сунула руку в карман, а он вот он — колокольчик! Как зво-

нила утром, так и остался в кармане. Веселей идти Маше с верным другом. Но все круче стена снега, все жестче удары ветра. Торопится Маша, больше десяти километров прошла, еще немного и — Ларьяк. Там тепло. Там скоро праздник — Восьмое марта. Вручат Маше комсомольский билет. В прошлый раз ее приняли в комсомол, а за билетом просили к празднику прийти, чтобы в торжественной обстановке вручить билет. Еще три километра до Ларьяка.

Но что это? Сквозь посвист ветра донеслись до Маши крики. Голоса знакомы. Бросилась Маша в сторону от дороги. А оленья упряжка за ней, по снежной целине. Пятьдесят, сто метров... Нет сил бежать. Кричат пьяные Прасины, тянут грязные руки к лицу девушки...

Нашли Машу через пять дней под берегом заснеженной речки. Истерзанную девушку привезли сначала в Эмтор-Пугол. Плакали дети и женщины. А метель надолго замела следы преступников, скрывшихся в тайге.

Жители Ларьяка проводили в последний путь Машу-учительницу. Похоронили в самом красивом месте села. Комсомольский билет с ней положили. На могиле высокий-высокий памятник поставили. И написали: «Маше Петухиной — первой учительнице». Так и живет она среди хантыйского народа как Маша-учительница.

...Наутро метели как не бывало. Отвоевав, непогода остыла. Самолет вспенивает небо где-то над Ларьяком. Через час-другой его лыжи коснутся маленькой взлетной полосы у поселка Корлики. Следующий самолет только через три дня. И останется за сотни километров занесенная метелью ночь и расплывчатый, призрачный образ той, чей колокольчик я услышала этой ночью в разбойном посвисте ветра.

Пыгатов сказал на прощание:

— Будешь в наших краях — спроси Тархову Марию Николаевну. Говорят, есть будто у нее письмо какое-то. От матери Маше, или наоборот. Тархова сейчас у сына гостит,



нет ее в поселке. А в лето уезжают они со стариком на «пески». Может, и доберешься, если интересно тебе...

«...Тов. Петухина, как активист-общественник, была принята в Ленинский комсомол, и в день 8 Марта должна была на торжественном заседании получить комсомольский билет. Но подлая шайка шаманов, убийц и их приспешников с 6 на 7 марта 1939 года зверски убили тов. Петухину Марию Семеновну.

Тов. Петухина как ликвидатор неграмотности помимо этой своей основной работы оказывала и практическую помощь в деле выполнения планов рыбодобычи и пушнины, активно выступала на собраниях и наводила резкую критику против тех, кто не хотел и противодействовал выполнению государственных планов».

Из протокола приговора окружного суда города Ханты-Мансийска Омской, ныне Тюменской области.

Архивные документы скупы и лаконичны. Рядом с ними хранятся простые статотчеты. Старые папки и новые.

«В 1939 году в Ларьякском районе в школах обучалось 570 учащихся. Учителей в школах — 20».

Сейчас учащихся почти в десять раз больше, а учителей в Нижневартовском районе столько, сколько было в тридцать девятом году учеников.

«Русский учитель, образцом которого служит Мария Петухина, принес в наш ранее глухой и забытый край первую книгу, тетрадь. Научил держать карандаш. Он вместе с этим принес и правду Октября. Это они, первые учителя, бросили семена культуры, просвещения. И они щедро проросли. Потому что политы кровью...» — так написал мне Анатолий Кауртаев, ханты, педагог из Нижневартовска.

Сейчас в Приобье нет ни одного неграмотного молодого ханты или манси, рыбака или охотника. Каждый раз, бывая в командировке в Нижневартовске, хотелось мне оказаться на берегу Ваха. Хотелось к девушке-легенде.

Большие перемены на берегах Ваха. Раньше коопзверопромхоз отставал, сказывалась сезонность работ. Укрупнили зверофермы, снабдили рыбаков совершенными орудиями лова в зимних и летних условиях. Сверхплановые прибыли доходят до ста тысяч рублей. Директор коопзверопромхоза Иван Степанович Титов много сделал для развития хозяйства. Не раз пушнину с берегов Ваха отправляли на Международный аукцион.

На дальних песках промышляют рыбу Тарховы. Не сидится старикам в поселке.

Оправдаются ли надежды мои? Что скажет мне старая женщина о Маше?

Петр Егорович Каткалев, охотник и рыбак, далеко в то лето запоры поставил. Звено на месте рыбу черпает, а Каткалев возит ее в Корлики. Его-то я и попросила взять меня с собой на Вах.

С весел тяжелыми каплями падала вода. Петр Егорович экономно, не склоняя корпуса, толкал весла вперед-назад. Ровная дорожка оставалась за лодкой. До Ваха по мелководной речушке Корлики оставался сухим лодочный мотор.

Вах выбежал навстречу неторопко. Его не тревожат гудки теплоходов, не бороздят трудяги буксиры. Сколько ни вглядывайся в берега, ничего не увидишь — сплошное таежное море. Я поглядывала на Петра Егоровича и думала: он и здесь найдет дорогу.

— Часто вот думаю, Петр Егорович: как в тайге не страшно одному? На сотни километров одно на другое похоже.

— Э, не все одинаковое, однако, вот штука. Тайга — наш дом. На охоту идешь — тайга острее пахнет, с охоты — совсем другой запах. Ты в своем городе все дороги знаешь, и мы в тайге свои дороги знаем, вот штука. Чужого человека тайга сразу слышит. Даже шуметь перестает — замирает, как рысь... А ты вот мотором управлять умеешь? — спросил он вдруг.

— Нет, Петр Егорович, не умею.

— А надо. Иди сюда, на корму. Бери ручку. Да не жми на газ, рыбу распугаешь. Ровней, однако, держи, ровней. Уметь надо. Вдруг случай? Дорога дальняя. Все маленько уметь надо, однако. Держи к берегу. Видишь, Сигильетов руками машет.

У рыбака что-то с мотором случилось. Каткалев помог устранить неисправность, и мы снова оттолкнулись от берега. Я держала ручку управления мотором, и Петр Егорович словно забыл обо мне. Он курил трубку, смотрел вперед. Рука у меня онемела. Из тайги слева и справа довольно часто выбегали маленькие речушки. Какие родники их питают? За думами незаметно спало напряжение.

— Эй, куда поехала? — Петр Егорович погрозил пальцем, выравнял лодку и повел ее сам. — Маленько научилась. По сторонам особенно не верти головой: «Колсын»? — Поняла?

— Колсын, колсын, Петр Егорович.

— Устала, однако, привыкнешь. У нас женщины все умеют делать. Ловкие руки... А вон и Нэнкин-Еган. Девичья речка по-русски, — сказал Каткалев.

— Чем же она отличается от других, безымянных, Петр Егорович? Заломы на ней вон какие, даже и не заметишь сразу, что речка.

— Заломы-то, однако, совсем недавно появились. Попали деревья, как от хвори какой, даже на веслах туда не пробраться. Длинная река, где и ручеек, а где и не пройдешь вброд. А назвали Девичьей, как тебе сказать? В память о девушке Маше, про которую ты у всех спрашивала. Тархова все тебе расскажет. Она из тех мест, где речка эта начало берет. Еще один песок пройдем, там и чум Тархавых.

— Вы вот все пески упоминаете...

— Э, у нас это вроде знаков, однако. Так дорогу измеряем. Вот мы с тобой пять песков прошли, заметила? На шестом будем чай пить, а на восьмом песке, у Хохлянкина, заночуем.

И вправду, вскоре из-за поворота показалась песчаная коса. Она вдавалась далеко в реку, другим краем уходила в лес. На взлобке ее — чум. У самой воды на кольях растянута сеть. Маленький обласок-долбленка приткнулся к берегу. По песку бегали собаки. Громко лая, они добродушно махали хвостами. Из чума вышла женщина. Приставив козырьком ладошку, она смотрела, как мы, разминая занемевшие ноги, неторопливо вытаскиваем на песок лодку.

— Питявола, Мария! — крикнул Каткалев.

— Питявола, питявола! Давно слышу вас, однако. Чай горячий, уха есть.

Есть очень хотелось. В чуме было чисто. Пахло сушеными ягодами, рыбой. Старушка с любопытством поглядывала на меня. Я вымыла руки и поискала полотенце. Тархова улыбнулась, достала из расписной берестяной коробки клочок каких-то волокон и подала мне. Это пахло березой и осиной, было мягким, как вата. Моментально впиталась вся влага. От рук потянуло лесом.

— Какое приятное волокно!

— Ну да, ну да.— Петр Егорович быстро вытер руки.— Это женщины запасают на всю зиму. Думаешь, что это?

— Не знаю.— Пожала я плечами.

— Это же стружка березовая.

— Неужели? Не похоже.

— Вот гляди. Тонкая, белая. В чуме и полотенца не надо. Тонко-тонко стругать березу надо. И осину можно. Женщины наши быстро острым ножом гору такой стружки наготовят. И ребенку в люльку в дороге годится вместо пеленки. Вот штука.

— А вот коробка какая красивая.

— Кужемка называется. Из бересты делаем, потом узоры женщины вырезают или выжигают, а потом красят.

Я заметила, что береста у ханты годится на все случаи жизни. Из нее получается крепкая крыша амбара. Из нее же делают чумашки, которыми вычерпывают воду из лодки, не размокает и не высыхает, легка в поклаже. Скрадки

строят для продуктов — тоже бересту под ножки кладут. Попробуй-ка заберись мышь, скользко, зацепиться не за что. А люльки для младенцев — чудо как хороши. Легкие, расписные, удобные. Кужемки, и квадратные и круглые, не один год служат. В них и ягоды собирают, и рыбу складывают. Для всех нужд в хозяйстве годится кужемка!

Мы сели к низенькому, набело выскобленному столику.

— Утром только хлеб испекла,— Мария Николаевна положила перед нами круглую лепешку. Кое-где к ней прилипли угольки. В алюминиевых чашках лежали вареные окуни, ерши, чебаки, подъяски. Юшка была прозрачной, с кружками желтого жира. Каткалев, ловко подхватив окуня, положил к себе на ладонь. Чай был крепким и ароматным. Чай ханты любят. Молодые острословы даже поговорку сочинили:

— Чай пьет — уткой летает, винка пьет — веслом лежит.

Тархова принесла какой-то черный кирпич, отломил кусок, подала мне.

— Пробуй, голубика со смородиной.

Вкусно, вкусней варенья, немного похоже на бабушкины паренки из моркови.

Я долго не решалась начать разговор. Тархова поглядывала на меня, нечасто гости забираются в такую даль.

Мы вышли из чума и сели на прогретую солнцем валежину. Долго молчали. Возле чума бесились и играли собаки. Петр Егорович пошел в лес пособирать сушняку.

Сколько мудрости в лицах много живших людей! Корявые пальцы Тарховой беспокойно бегали по подолу платья, словно искали работу. Она, будто вспомнив что, вскочила и засемила к сетям. Сходила в чум, принесла челнок и принялась чинить сеть. Все она делала проворно, но без суетливости.

— Мария Николаевна,— тихо позвала я.

Она улыбнулась, ловко заправила за ухо прядь седых волос, а руки все продолжали гонять челнок.

— Мне вот интересно, Мария Николаевна, откуда название у речки — Девичья? Не та ли это речка, где Машу нашли?

— А ты знаешь про Машу? — старушка вскинула на меня выцветшие глаза.

— Немного я знаю. Может, вы что расскажете? Слышала, что письмо у вас какое-то есть...

— ...Есть письмо,— она с любопытством посмотрела на меня. Я замерла: запозванивал колокольчик. Не оборвись, не замолкни, дай, счастье, прикоснуться к тебе через десятилетия, продли беспокойство!..— Есть письмо, однако. Берегу его. И Машу помню, девушку русскую, белолицую. Вай-вай! — Она посидела молча, словно вспоминая что, а потом сходила в чум и вынесла письмо.

Пожелтевший лист бумаги, стершийся на сгибах.

«Мамочка, помнишь, как ты меня провожала? Ты сказала, что я ухожу в неизвестное прямо из детства. Скоро мне будет 19 лет, а ты все еще считаешь меня маленькой. Зато ты, мам, на любом расстоянии самый большой для меня человек. Ты научила меня главному в жизни: любить людей. Да, мне трудно. Но дети уже научились читать, а взрослые умеют теперь расписываться. Ради этого стоит перенести все. Кто-то же должен начинать.

Знаешь, у меня важная новость: меня приняли в комсомол. Скоро пойду получать комсомольский билет в Ларьяк. Там будет торжественное собрание.

Все будет хорошо, мама. Мне обещают помочь тетрадями и учебниками. Ученики мои поняли — и дети и взрослые, что учение — свет. А это главное. Теперь они сами тянутся к книге. Знаешь, чего хочется? Хорошей музыки. А здесь ее слушать пока нигде. Но ничего, и Москва не сразу строилась.

Твоя дочь Мария».

— Хорошая была девушка. Душой добрая. Грамоте нас, остяков, выучить хотела. Я-то замужняя уже была, а грамоты нисколько не знала. Придет Маша в чум, рукой моей по бумаге водит, буквы показывает. Научила меня за зиму писать. Дети твои, скажет мне, в школе учиться будут. Как она все знала про моих детей? Я засмеюсь, а она все про де-

тей, все про другую жизнь. Я ее не понимала. Какая другая жизнь, если в тайге все на одном и том же месте, люди все такие же. Зачем деревянный чум, если в этом хорошо. Говорит она со мной, говорит, а потом начнет картинку показывать. Сколько картинок у нее было! Уйдет, а в чуме обязательно картинку оставит. Быстро я к ней привыкла. И жалела ее. Косятся Прасины, она и им картинку показывает. Григорий выбросит Машины картинки и книги на улицу, она соберет их и ко мне. Ночует, а утром снова в дом. Снова колокольчиком зазвенит. И так, однако, радостно от этого колокольчика, кажется, солнышко в чум заглянуло. «Емаки во-сын? — Как здоровье?» — спросит и улыбнется. Веселая, однако, девушка была. Красивая. Песни часто пела. Разные песни. Веселые и грустные. Не все мы тогда по-русски понимали. А песни ее прямо в сердце шли.

— А откуда она была, Маша? Не знаете?

— Говорила она, что мать ее с Васюганья. А сама откуда? Может, и сама там жила. Про васюганских ханты говорила, что сперва зиму их учила, потому я и запомнила. Тосковала она, однако, по дому. Я так понимаю. Часто на берег ходила. Сядет на перевернутый обласок и что-то пишет в свою толстую тетрадь. Ходила я на реку за водой. Маша подошла и показывает тетрадь. А в ней наш поселок, олени, чумы, люди и река с перевернутыми обласками. Посмотрела я кругом — ничего, однако, интересного. Посмотрела в большую Машину тетрадь — и то, и не то. Как в книжке, та картинка.

— А меня ты нарисовать можешь? — спрашиваю.

— Учиться мне, говорит, надо.

— Вай-вай, — удивилась я, — и так ученая, голове будет трудно, лопнет голова. А она смеется, плечиками так поводит. А плечики круглые. Ладная, как молодая важенка, была Маша. Веселье Машино, однако, не нравилось шаману Гришке. Он нам говорил, что не к добру она так часто смеется. Ее, говорил, надо гнать. Жили без нее хорошо. А то все захотят учиться и уйдут. Тайга опустеет, одни старики останут-

ся. Кто кормить их будет? Кто на охоту пойдет? Злился он на Машу.

— Вот ведь какое дикое время было, не верится даже.

— Я и сама думаю: однако, было ли это? Дети мои грамотные, правду Маша говорила. Учатся-учатся в интернате, много годов учатся, а все в тайгу возвращаются. Пугал шаман. Зря говорил. Тайга — она, однако, вторая мать для ханта.

— А как думаете, жива ли мать Машина? Почти сорок лет как письмо написано.

— Храню вот письмо, а про мать Машину ничего не слышала. Глухая наша сторона была. И письмо я, однако, не сразу нашла. Маша-то, как выгнали ее из дома Прасины, ко мне пришла. Говорит: книги у тебя оставляю, а то порвут их там. Вернусь, тебе красивую книжку с картинками принесу. Чайник тебе новый куплю, будем чай пить с конфетами. «Куда ты, Маша, ночью пойдешь? Ветер поднимается, метель, пурга, однако, будет», — не пускаю ее. «Успею до метели, завтра и не выйти, если разгуляется. Мне билет комсомольский получить надо. На праздник иду!» Я подумала: что за билет такой, если за ним не терпится ей идти? Важная, должно быть, бумага, нельзя, значит, Маше без нее. Оделась Маша и ушла. Голова моя и теперь болит, сердцу покоя нет. Потерялся наш колокольчик, отзвенел он в мартовскую метель...

Тархова замерла над сетью, две крупные слезинки скользнули по ее иссохшим щекам.

— В районе памятник Маше поставили. Внучка рассказывала, что в комсомол у того памятника принимают. И я была у Маши, посидела, однако, поговорила с ней. Всех она моложе осталась... А Прасиных, шаманов нечистых, увезли в наручниках, и народ забыл их. Прокляли их старики. Сколько горя принесли! Много добрых людей нам, остякам, помогало. Всех, однако, помним, из рода в род рассказываем о них.

Петр Егорович сидел в сторонке, и до него долетали слова Тарховой. Он задумчиво курил трубку, смотрел куда-



то далеко-далеко, может, в то время, когда и сам, впервые взяв в руки карандаш, написал первую букву, будучи уже немолодым...

Тихо вокруг, уютно. Неслышно отлетел с березы один, другой лист. Каткалев молча направился к лодке. Осмотрел мотор, сложил обратно в лодку нашу поклажу. Мне не хотелось расставаться со старой женщиной. Хотелось еще и еще говорить о Маше. Просто сидеть рядом с той, в чьем сердце, в чьей памяти Маша осталась не легендой, а живой девушкой.

— Часто я смотрела книги Машины. Все картинки пересмотрела. И один раз гляжу — в книге бумага. Вроде письмо. Вот и возжу его в кужемке вместе с документами. Дочь старшая мне его прочитала, и поняла я, что писала это письмо Маша. Возьми, доченька, письмо, может, найдешь кого из родни Машиной. А вдруг мать жива?

Тархова сходила в чум, вынесла кужемку ягод. Быстро засемила к лодке и поставила кужемку на дно лодки.

— Это тебе. Долго ли на реке простыть, а поешь ягод — и простуда сойдет. Наша ягода здоровьем богата.

Мы сердечно простились с Марией Николаевной. Оттолкнули лодку, и над Вахом снова повис звук мотора. Долго видела я на берегу маленькую фигурку женщины.

Лодка все быстрее уходила вперед. На корме уверенно и крепко сидел Каткалев. Он лишь изредка поглядывал в мою сторону.

...Я шла по берегу рядом с Машей. Метель секла лицо, волком выл ветер, и шаманий бубен гремел над ухом. Вдруг откуда-то издали слабо зазвенел колокольчик. Он был похож на наш, школьный. Вон он ближе, ближе.

— Это Машин колокольчик, — сказал мне кто-то рядом. — Он и в метель не даст заблудиться доброму человеку. Он везде! Потому что Машино сердце рассыпалось на тысячу колокольчиков...

Что-то толкнуло меня. Я быстро посмотрела по сторонам и сообразила, что это тот самый песок, где рыбачит брат Каткалева и где мы будем ночевать.

— Задремала, однако. Устала с непривычки, такая штука,— сказал мой проводник.

Ночь быстро наступала на берег. Развели костер. Остро пощелкивал сушняк. Я расстелила у костра спальный мешок, нырнула в прохладное его нутро. Мужчины долго говорили о делах. Костер горел до утра.

Когда собрались мы с Каткалевым в обратный путь, лист желтел, бился в буравчиках прибрежных родников.

Уходит время, а значит, и люди. Кто знает, сколько еще надо недель, а то и месяцев, чтобы преодолеть почтовые километры. Дождаться писем из Молдавии, Томска, Свердловска, Омска, чтобы ответили люди, чтобы найти в письмах одну заветную строчку, всего одну — адрес Машиной матери.

«...Отвечаю на ваше письмо о моей дочери, Маше Петухиной. Родилась Маша 11 марта 1920 года в селе Новоникольское Томской области. Маша была послушной, исполнительной девочкой. Закончив политпросветшколу, она работала в юртах недалеко от Новоникольска. Научила читать и писать ханты. Потребовались учителя в Ларьяк — ее направили туда. Я знала: там трудно. Но ее потому и посылали, что у нее был уже опыт общения с туземным населением. И она поехала. Она была дисциплинированной в работе. Зная, что может быть убита, она не бросила порученного ей Советской властью дела. Маша хорошо рисовала с детства. Могла стать художником. Мне сейчас восемьдесят лет, но разве со старостью утихнет боль материнского горя? Я проклинаю врагов Советской власти, отнявших у меня дочь, которой было всего восемнадцать лет...»

Долго искала я Афанасию Федосеевну Петухину, прежде чем получила это письмо. Я преисполнена благодарности Томскому совету ветеранов, новоникольским школьникам, ларьякским пенсионерам и многим другим людям, которые,

надставляя ниточку поиска, помогли мне найти эту женщину. Жизнь подарила мне счастливый миг, когда задышали строчки письма, и тихая усталость пришла на смену возбужденному воображению.

А когда пришла волнующая минута и самолет понес меня в Томскую область, мной вдруг овладел страх: застану ли, найду ли? Ах, время, как быстро прессишь ты годы! Как часто мы просто не успеваем! Даже минутка малая так больно порой ударит по сердцу, по всей жизни, что и за годы не забудешь.

Я шла ночными улицами Колпашево, и мне ни у кого ничего не нужно было спрашивать. Светла летняя ночь в Приобье. Улицы, будто промытые молоком, услужливо сияли новыми табличками. Я быстро нашла маленький бревенчатый домик на улице Трудовой. Надо ли говорить, сколько волнений испытали мы с Афанасией Федосеевной, прежде чем начали наш долгий, нелегкий разговор. Смотрят на нас с портрета веселые девчоночьи глаза. И сколько в них жизнелюбия, внутренней силы. Так и кажется: вот сейчас она скажет вам что-то, и станет вам радостно от ее приветливого слова. Но молчит мечтательница, шагнувшая в суровую взрослую жизнь. А в маленькой комнатке бревенчатого домика мы сидим со старенькой матерью и вместе разбираем полустершиеся строчки письма, привезенного с Ваха. Долог наш разговор. Звучат невидимые струны, раздвигаются десятилетия. А в памяти тех, кто знал Машу, осталась она с колокольчиком в руке, который звал ханты к знаниям, счастью.

Леонид  
Лапцуй

**Я СЛУШАЮ  
ТЕБЯ,  
ЗЕМЛЯ**

Поэма



---

*Окончил Высшие партийные курсы в Москве. Живет в Салехарде. Член Союза писателей. Автор многих поэтических книг на ненецком и русском языках. Завершает работу над новой поэтической рукописью.*

**Павшим и живым**

I

Я не искал нигде покоя,  
Не раз ветра меня трепали,  
С крутых обрывов далеко я  
Глядел в бушующие дали  
И, отгоняя суеверья,  
Вверял Ямалу боль и муку,  
И без земли своей теперь я,  
Как древний прадед мой — без лука.

Свисти же, ветер, надо мною:  
Натянем время тетивою.

Над Волгою склонились ивы,  
А к тундре подступают кедры.

Я слышу голос твой правдивый,  
Земля моя, сквозь песни ветра.  
И вот приволжские курганы  
С ямальскими заговорили,  
И прошлые открылись раны,  
И ожили бойцы в могиле.

«Приди,— меня земля зовет,— и  
Кусочек сердца моего ты  
Свези моим сынам нетленным,  
Под Сталинградом убиенным...»

## II

Майским утром, ямальским, туманным,  
Салехард мой растаял внизу, словно звук.  
По его мостовым деревянным,  
Где проходит Полярный невидимый круг,  
Где в привычном своем одеянье  
Все еще, как зимою, застыла земля,  
Только ветер гудит, на прощанье  
Вдоль заснеженных улиц порошей пыли.

И над гривами солнечных сопок,  
В синеве, незаметный с земли островок,  
Как олень белобокий, Як-40  
Затерялся среди облаков, быстроног.  
Цель найдет — и опустится с неба  
Прямо в крепкие руки твои, Волгоград.  
На сиденьях, справа и слева,  
Глядя в окна, посланцы Ямала сидят.

И волнение не в силах сдержать я,  
И душою давно я у Волги-реки:  
Салехард с Волгоградом — как братья,

Обь и Волга — как сестры друг другу близки.  
Слыша грохот военный металла,  
Слыша стоны седой сталинградской земли,  
Шли на бой добровольцы Ямала —  
К Волге вместе с полками сибирскими шли...

Мы летим, рассекая крылами  
Часовые невидимые пояса,  
И меняют свой облик под нами,  
Зеленея, весной наполняясь, леса.  
Север к югу, спешим мы друг к другу,  
Над ветрами полей убыстряя полет,  
И войной опаленную руку  
Нам по-дружески город-герой подает.

### III

Сойдя по трапу корабля  
К тебе, священная земля,  
Я приникаю, словно птица  
Ямальских тундровых холмов.  
К тебе донес я дальний зов:  
Полярный город мой готов  
Бессмертной славе поклониться...

Я, затаив дыханье, внемлю,  
Как чуткий северный песец,  
Твоим словам, а в них — свинец:  
Сквозь гул боев я слышу землю.

«Послушай, брат, рассказ мой скуп.  
Неправда не сорвется с губ,  
Узнавших кровь и вкус металла.  
Здесь память ценится, как хлеб,  
Здесь, где история судеб  
Одним узлом века связала.

Оставил в бурях давних лет  
Мой дед Царицын вечный след:  
Громил деникинцев мой дед  
С непокоренной кровью в жилах.  
А Сталинград мне стал отцом,  
Когда, врагов сдавив кольцом,  
В степях приволжских сокрушил их.  
Взгляни, мой северный собрат:  
Здесь каждый камень, как солдат,  
А в поле каждая травинка  
Ползла в огонь, как медсестра,  
Здесь, неприступней, чем гора,  
Стояла каждая песчинка.

Ты знаешь, как бывает лют  
Буран, как волны в берег бьют,  
Как воет ветер, зол и жуток.  
Но был смертельней во сто крат  
Свинцовый снег, железный град,  
Когда сражался Сталинград  
Сто тридцать пять кровавых суток.

Здесь был границей каждый бой,  
А Брестской крепостью — любой  
Был дом, не сдавшийся, не павший.  
Там, где сибирские стрелки  
Взводили грозные курки,—  
Легли немецкие полки  
На камень, порохом пропахший.

Мой друг, взгляни на эту пядь  
Земли, которую распять  
Никто не смог, на эту рану,  
Еще саднящую в груди.  
Мой друг, товарищ мой! Иди,  
Иди к Мамаеву кургану!..»

#### IV

Кем ты был, мой старший брат,  
Перед грозным годом?  
Пастухом, и рыбаком,  
И оленеводом.

Кем ты стал, мой старший брат,  
В том году заклётом?  
Ты бессмертным стал бойцом,  
Рядовым солдатом.

Комсомолец той поры!  
Не было, не скрою,  
Для ненецкой детворы  
Лучшего героя.

Что-то было в тех парнях,  
В сыновьях Ямала,  
Что на светлые дела  
Душу поднимало.  
Я, с сегодняшних высот  
Глядя в ту эпоху,  
Собираю вновь и вновь  
Облик их по крохам.  
Человек у нас в краю  
Бурями испытан.  
Крепок дедовский закон  
Мерзлотой лежит он.

И с проложенной тропы,  
Покоряя дали,  
Кочевые аргиши  
Вовсе не съезжали.

Еле брезжил наш рассвет  
В лютой снежной пыли.



Истуканов мы еще  
Кровью жертв кормили.

И по праздникам еще,  
Как хотели деды,  
У костра плясал шаман,  
Отгоняя беды.

Комсомольцы той поры!  
Не пустые речи  
В эти трудные года  
Вам легли на плечи.

Значит, нужно было быть  
В нашей тундре — светом,  
Чтоб для темных стариков  
Стать авторитетом.

Комсомольцы той поры!  
Честность и геройство —  
Это ваших смелых душ  
Доблестное свойство.

Не с того ли в грозный час,  
Расставаясь с детством,  
Уходили вы на бой  
По веленью сердца?

Шли сибирские полки  
Шагом росомашьим.  
Я глядел из-под руки  
Вслед упряжкам вашим.  
И у волжских берегов,  
Стоя на кургане,

Словно детство я свое  
Увидал в тумане.

Связаны одной судьбой  
И одной планетой  
Комсомольцы той поры,  
Комсомольцы — этой!..

V

Я не был участником битвы великой на Волге,  
Но, кажется, сам пережил, каждой клеткой своею  
Впитал эту боль, этот смертный огонь, этот гнев  
Священный и, кажется, слышал своими ушами  
Сквозь грохот орудий, как женщина голосом громким —  
А может, не женщина, может быть, Родина-мать? —  
Как женщина голосом громким звала нас к победе.  
Я слышу его, этот крик, — это голос Отчизны!  
Звала нас к победе: от боли губу прикусила,  
Прикрыла глаза от последних мучительных схваток —  
Так в схватке с врагом ты, Россия, рождала победу! —  
И в городе, в этом кипящем свинцовом котле,  
Возник еле слышный, но всевозрастающий голос —  
И девочка, крошка, малютка в тот миг возвестила  
О том, что жива, что врагу не сдается земля,  
Что в горькой беде дочерей своих гордых рождает!

«Мы слышали крик новорожденной — мы не сражались!  
Мы, те комсомольцы, что только недавно глядели  
В глаза Заполярью, в олени большие глаза,  
В глаза вековечной, никем не исхоженной тундры,  
В глаза матерей и в глаза наших первых любовей, —  
Теперь мы бросались под танки со связкой гранат,  
Своими шинелями раны земли прикрывали,  
Как доноры, кровь отдавали родимой земле.  
Да, были мы смертны, как смертны простые солдаты,  
Но девочка та, что в огне и свинце родилась, —  
Она своим криком смертельную боль искупила:  
Жива наша девочка, значит, Отчизна — жива!

И шли мы на бой, потому что бессмертны солдаты,  
Когда за спиною, в камнях, перемолотых смертью,  
На небо, на землю глядит, сохраняя навечно  
И землю и небо,— целительной жизни росток!..»

## VI

На площади скорби, на мраморных плитах,  
Живут имена по-над Волгой убитых.  
Живут имена, и живые цветы  
Покрыты росой у каждой плиты.  
Живые тропинки, курган огибая,  
Идут по земле без конца и без края.  
Живой караул неподвижно застыл  
У братских бессмертных великих могил.

Народ, словно стадо оленье, теснится,  
Смешались наряды, и говор, и лица.  
Под ветром, летящим над волжской волной,  
Увидеться можно со всею страной.  
У каждой могилы стоят в карауле  
Все те, кто прошли сквозь фашистские пули:  
Отцы с матерями, от горя черны,—  
На смену идут сыновья с дочерьми.

Стою на пропитанном кровью кургане —  
Здесь насмерть стояли мои северяне,  
В сибирских отрядах, присяге верны,  
Седого Ямала святые сыны.  
И, мысли собрав, словно петли аркана,  
Как лебедь, взлетая над склоном кургана,  
Комочек ямальской скупой мерзлоты  
Кладу у подножья безмолвной плиты.

И, встав на колени, подняться не смея,  
Шепчу на ненецком своем языке я:

«От Карского моря, от тундры родной  
Примите поклон — материнский, земной.  
От вьюжной метели, под ветром летящей,  
От каждой росинки, под солнцем горящей,  
От каждой травинки, растущей весной,  
От каждой тропинки, ведущей домой...»

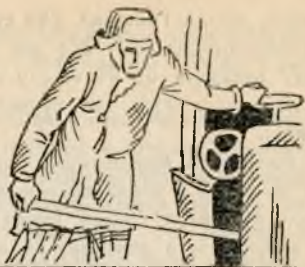
Я ухо к земле прижимаю и слышу,  
Как бьется под камнем — то громче, то тише,  
Волной приближаясь, теряясь вдали,  
Горячее сердце огромной земли.  
Как Волга и Обь, без конца и без края  
Текут, миллионы речушек вбирая,  
Под гривами сопок, под зеленью трав  
Стучит оно, сердце за сердцем вобрав.

Перевел с ненецкого М. Яснов

**Валерий  
Острый**

**ЧЕТЫРЕ НОЧИ  
БУРИЛЬЩИКА  
ГРИЩУКА**

**Повесть-хроника**



*Живет и работает в Нижневартовске, инженер НГТУ Мегион-нефть. Очерки печатались в газетах. Сейчас работает над сборником очерков и рассказов.*

Никто никого прямо в лоб об этом не спрашивал. Но всем было любопытно, как решат — разрешат им работать на двух кустах или нет?

Если «да» — значит, они волей-неволей передовики: на двух кустах возможностей отличиться ровно в два раза больше, чем на одном. Арифметика...

В управлении буровых работ было несколько буровых бригад — одни посильнее, другие послабее. Так вот у тех, кто послабее, этот вопрос — бурить зимой на двух кустах или на одном — не стоял. Этим и одного куста во-о-т так хватало. Сильным же, знаменитым коллективам, что гремели на всю страну, деваться было некуда — не только на двух, на трех пробовали. Но на трех — не вышло...

А вот с бригадой Миганова надо было решать. Летом она бурила на двух. Получилось. Но то летом... А сейчас приближалась короткая, холодная и бездорожная осень. Снег выпадал в сентябре, а в октябре уже настаивались тридцатиградусные морозы.

Кто будет решать?.. Все почему-то были уверены, что решат до собрания. Решат там, наверху, а утверждают те не-

Многие, вроде Грищука, чей стаж в бурении около тридцати или под тридцать. И все же всем хотелось послушать, как будут говорить от их имени... После таких собраний долго обсуждали, у кого это лучше получилось — говорить от их имени...

Митрофан Максимович Грищук любил эти собрания: на них он вновь и вновь проникался приятной убежденностью в своей нужности, своей необходимости бригаде. Но сейчас он впервые — а впервые ли? — с радостью передал бы это почетное право решать другим, более молодым и сильным.

Себя, кажется, пора было и поберечь. Слава богу, тридцать четыре года на буровой. И хоть на фронте не был, так из-за того, что его, Грищука, опытные руки в тылу были нужнее, чем на фронте.

Митрофан вспомнил, сейчас он часто вспоминал, как бурили в тридцать девятом, сороковом. Как в сорок первом его поставили бурильщиком. А первым помбуром у него стала... баба. Настя, а вот как фамилия?.. Молодая, здоровая. И что потом от нее осталось? Это сейчас вон всякие пульты, пневматика, автоматика... А тогда? Два элеватора, каждый в три пуда... И вот елозишь, елозишь этими чугунками... все восемь часов. К концу вахты хотелось бросить тормоз и уйти с буровой. Куда глаза глядят. И не из-за того, что руки отваливались. Нет. Он как-то привык. Но вот смотреть, как загибалась эта молодая баба со своим напарником Колей по кличке Сморчок, было тяжело... Давно это было.

...На глазах у Максимыча стало влажно — ветер чертов! — но высморкаться, утереться было некогда: еще одна, наращенная «свеча» пошла вниз. Надо было закреплять «квadrat» и начинать бурение.

Мишка, помощник, всю ночь клевавший носом, проснулся:

— Восьмая, Максимыч. Значит, двести метров запишем на свой счет.

Красно-рыжее солнце, всю ночь блуждавшее где-то за

горизонтом, поднялось, протянуло бесцветные свои лучи прямо к центру буровой. И сразу стало как бы пятым членом вахты.

Грищук нажал на кнопку. Звонок в насосном сарае передал команду, электрик походя сбросил ручки воздушных компрессоров, и два огромных насоса медленно и мощно наполнили дрожью все и всех, находившихся рядом. Резиновый шланг, соединяющий стальную трубу, что тянулась от насосов с трубами-«свечками», уходящими вниз, в землю, к заданной глубине, до этого спокойно висел на высоте около двадцати метров. Сейчас он задрожал крупно и порывисто, словно известил всех, кому видна вышка, что началось бурение.

— После выходного бурить уже не достанется,— Мишка оживал прямо на глазах.

— Не-е-т... Еще вахту, другую побурим... Ты про какой это выходной говоришь? — не отрывая глаз от приборов, спросил бурильщик.

— Как про какой? — Мишка остановился как вкопанный.— Ведь уже полмесяца без выходных,— заканючил он.— Завтра воскресенье. А у нас выходной. Совпадает. Жена дочкой займется, а я выплюсь. Выспаться охота...

Грищук, не отрываясь, следил за стрелкой индикатора веса, крепко сжимая ручку тормоза. Что он мог ответить этому парню? Он знал, что у Мишки — дочь. Полтора года, кажется. Жена работает, а места в садике нет. Когда Мишка приходил с ночной, жена убегала на работу, оставляя девочку с отцом. И все же этот парень не сдавался, сам растил нянчил ребенка, хотя бабка и дед на Большой земле слезно просили не мучить внучку, привезти им.

Митрофан все это знал, и, когда ночью у Мишки вдруг подгибались ноги в коленях и тот, вздрогнув, просыпался, Грищук делал вид, что не замечает этого. Но во время спуска-подъема приходилось быть настороже. Все это могло плохо кончиться. И не только для Мишки. И Максимыч уже не раз и не два собирался вмешаться в это дело. Но выход

был один — разговор с мастером, после которого на месте Мишки мог появиться другой парень, скорее всего холостяк из общезжития. Надо было решать...

Ночная вахта — самая тянучая. Конечно, за делом все незаметнее, но часа в четыре, даже чуть пораньше, полчетвертого, такая сладкая прилипает дремота, что ее не отогнать. Казалось бы, за тридцать пять лет сколько было таких ночных, привыкнуть пора, да и привык вроде... — нет. Только запахнешься потеплее да еще не дай бог остановишься, прислонишься куда-нибудь поудобнее и... не заметишь, как ухнешь в сон.

А утром сменщиков к восьми не жди. Редко когда полдевятого приедут, чаще — к девяти. То проспит кто маленько — ждут, то на базу за какой деталью заехать надо, то мастеру с начальством переговорить приспичит... Летом на опоздания не обращаешь внимания. Солнце с пяти часов помогает всюю. Да и ночью светло. Ни холодно ни жарко. Комаров нет. Только работай.

...Вдали показался подпрыгивающий на колдобинах вахтовый «Урал». Грищук недовольно поморщился — добурить «квадрат», очередные двадцать четыре метра, они не успевали...

— Ладно. И так хорошо сработали, — пробормотал Максимыч.

Вахта, действительно, прошла удачно, и Митрофан, передав ручку тормоза сменщику, удовлетворенный, двинулся к сушилке — переодеваться. На мостках его догнал «верховой» — Кайсын Камалов, сорокалетний мужик с лицом, изрезанным морщинами, в которых терялись узкие прорезы глаз.

— Максимыч. Давай отдохнем?! Баба хочет орехами заpastись. Говори с мастером.

Грищук, удивленный, остановился. Мишка — тот понятно. Тот падает. Но Кайсын! Этот-то железный. А за деньги — стальной. И потом, за него жена только что на вахту не ходит. Максимыч был у него раз дома, в гостях, — то ли кре-



стины, то ли после демонстрации заходили как-то... Так целый месяц потом удивлялся и смеялся. «Чем бабу так под собой держать можно? Колотит он ее, что ли, каждый день для профилактики?!»

И уж если Кайсын о своей в разговоре напоминает, пора останавливать буровую.

Максими́ч еще раз изумленно посмотрел на Камалова. В общем-то и у Грищука жена. И дети. И сходить бы с ними в лес...

«Н-да... Может, действительно? Последние денечки... Солнышко-то вон что вытворяет...»

— Завтра в первую, на сто третий куст. Забивать направление,— лицо у мастера Миганова мягкое, с округлым, чисто выбритым подбородком, с крупными, чуть кислыми щеками и высоким от залысин лбом, словно в паутинах рваного сна, Грищук знал, что мастер провел всю ночь на сто третьем, а сюда приехал убедиться — все ли здесь в порядке.

— Тут, Тихоныч, такое дело. Мы ведь три смены без выходящих.

— Разве три? — Миганов поднял голову и внимательно посмотрел на Грищука. Этого взгляда было достаточно, чтобы понять — выходной вахте Грищука не входит в планы мастера.

— Ведь я не один, Тихоныч,— тихо ответил Максими́ч. И опять Миганов вслух ничего не сказал, а только еще раз посмотрел на Грищука. Чуть удивленно.

Они знали друг друга давно, еще по Отрадному, что около Куйбышева. Потом пути их разошлись: Миганов бурил где-то в Африке, а Грищук попал на Мангышлак. Тоже пекло. Но тому и другому жара, видно, была не по сердцу, и они встретились вновь уже здесь, на Самотлоре, где бурение шло даже в пятидесятиградусные морозы.

За прошедшие годы они постарели, но это не могло помешать им с полувзгляда, с полуслова понимать все, что касалось главного и объединяло их друг с другом.

Но теперь Грищук удивил Миганова, а тот своим молчанием устыдил Грищука.

— Поделом тебе... Заступник нашелся...— И, круто повернувшись, Митрофан вышел от мастера. Стараясь не встречать ничьих взглядов, он сосредоточенно переодевался, но поджатые губы выдавали его раздражение. А едва уловимо суетящиеся руки — растерянность. «Надо было сказать про Мишку. В конце концов это не работа. Но и выходной — не гуляние. Лес?! Какие тут к черту орехи...»

— Ну как? — не утерпел Мишка.

— Что — как? — попробовал было отпереться Максимыч. Но вмешался Кайсын:

— Говорил?

— Завтра в первую, на сто третий, — отрезал Максимыч. Мишка посерел лицом. Но Кайсын не дрогнул. Толкнул дверь, ведущую к мастеру, и, не входя, буркнул:

— Дай выходной, мастер.

Миганов искал было глазами Грищука, но Камалов загораживал весь проход:

— Ты что, Кайсын? Устал?

— Я ничего. Но жена есть. Дети есть. Скоро дожди, холод. Надо разок в тайгу сходить. Орехов набрать, рыбу ловить. Дай выходной, мастер.

Что мог сказать Миганов? Он хотел поднять голос. В конце концов, ему выходных причитается не меньше...

— Спать хочется, Тихоныч, — устало вмешался Мишка. — Честное слово, только бы выспаться...

В бригаде у Миганова было пять вахт. Шестая существовала полуофициально: практически она была, но в отчетах, в документации ее обнаружить было трудно. Седьмую, совсем неофициально, сколачивали каждый день из тех, кто оказывался не у дел, но под рукой. Это был неофициальный резерв начальника цеха бурения, которым он распорядился по своему усмотрению: где тонко — чтоб не рвалось. Каждый из пяти буровых мастеров доказывал, что тонко — у него. Но начальник цеха сам знал это лучше каждого из

пяти. Во всяком случае, как же идти к начальству, выпрашивать эту седьмую вахту, когда свою «законную», пятую, отпустил на выходной, как?!

Но и тут не знаешь, куда и как смотреть. Миганов растерялся... Наконец, махнув рукой, он устало попросил:

— Позовите Грищука.

Когда тот вошел, Миганов стоял у окна и задумчиво смотрел перед собою. Не оборачиваясь, спросил:

— Ты, Максимыч, знаешь, сколько нам планируют на следующий год?

Грищук, насторожившись, промолчал. Но Миганов уперся:

— Ты скажи, Максимыч, знаешь или нет?

— Да так, слышал. Краем уха...

— Шестьдесят. Шестьдесят тысяч. Понял? А теперь скажи, можно шестьдесят тысяч пробурить на одном станке? Во-о-т! Вот этого разговора и боялся Максимыч.

— Ты отвечай. Что ты там, как в тряпочку...— И вислые щеки у Миганова затвердели, высокий лоб стал крутым, а округлый мягкий подбородок — тяжелым.

— Ну что ты нервничаешь, Тихоныч. Ведь знаешь, за мной дело не станет. Как решат, так и будет.

— Во-первых, решать нам. Тебе, мне, еще троим-четверым. А может, и нас не спросят... А во-вторых, мне мало, Митрофан, чтобы ты только за себя отвечал. Бурильщик отвечает за вахту. Сказал — «завтра работаем» — все! Разговор окончен. А если некоторые спать сюда приехали — пусть спят. Замену найдем. Желающих попасть в ходовую бригаду — полное общежитие. Есть из кого выбирать, — Миганов все донимал и донимал и, мало того, как бы оценивал Митрофана.

Грищук потупился...

— За мной дело не станет. Что тебе еще сказать?

Тот, словно удостоверившись в чем-то, успокоился. Передав махать рукой, разжал кулак, и Митрофан увидел на ладони... будильник. Миниатюрненький такой, позолоченный. Не поднимая головы, Тихоныч надолго уперся взглядом в

циферблат. Поставив стрелку на двенадцать, он, поколебавшись, передвинул ее еще поближе к часу.

— Ну ладно, отдыхай,— сказали они друг другу вместо прощания. Но Митрофан, уже сев в «Урал», вспомнил о том, что кольнуло его в разговоре с Мигановым.

— Подожди,— тронул он рукой плечо шофера.

«...Стоит? Не стоит! Черт его знает...» Но все же из машины вышел. Зайдя в будку к мастеру, он неловко потоптался и негромко попросил:

— Ты Мишку не трогай, Тихоныч.

Не получив ответа, он взглянул на верх двухъярусной кровати. Одна нога у Миганова была в носке, а на другой сквознячок тихо шевелил рыжие волоски на костяшках пальцев...

Еще немного потоптавшись, Грищук вышел и плотно прикрыл за собой дверь.

## 2

— У-уф,— Митрофан с наслаждением опустился на табурет, заботливо подставленный Марией. Несколько минут сидел неподвижно, тяжело, плотно прижавшись к батарее... Спина мерзла. Ничто так не донимало в вахты Митрофана, как это ощущение чужой, стылой, деревянной спины. Уж он ее и в свитера, и в меха — не помогало. И только дома, у батареи, отогревался...

Митрофан медленно, кряхтя стаскивал мокрые кирзачи. Скорее бы уж валенки! Он и сейчас бы одел, да вроде еще не сезон. С утра-то и вечером морозец прихватывает — будь здоров! А днем — отпускает. Слякотно. Утренняя вахта добиралась до буровой за полчаса-час. Дневная — за час-полтора. Ночная же тряслась полчаса — не больше: шофер гнал — скорее к постели, не обращая внимания на колдобины. И буровики терпели — скорее домой, в тепло. А на бетонке, облегченно вздохнув, все засыпали. Клонили головы на грудь. Митрофану в эти минуты виделось, как он прихо-

дит домой, садится на табурет, так же стаскивает скользкие сапоги, а потом идет на кухню пить со старухой чай, который она заваривает своим, особенным рецептом.

Он любил эти часы, когда в квартире, где вместе с ним жили сыновья и дочь с мужем, в доме с дощатыми перегородками и во всем поселке, с утра до вечера наполненном ревом КраЗов и МАЗов, стояла эта мягкая, теплая, уютная тишина. Такая редкая...

После балка, в котором прожили два года, эта трехкомнатная квартира в крупнопанельном доме была раем со всеми удобствами... Первое время.

Сыновей он разместил в проходном зале, занял с женой одну комнатенку, а вторую отдал дочери с мужем — свадьбу играли заодно с новосельем. Это был, как сказали на семейном совете, оптимальный вариант.

Оптимальный! Вот так и жили.

Сыновей было трое. Но старший бурил на Мангышлаке, жил своей семьей. Ежегодно, сразу после Нового года, Митрофан с Марией ездили к нему и там проводили отпуск. «Каждый год...» Митрофан тяжело вздохнул и тут же уткнулся в чашку, словно Мария могла подслушать его невеселые мысли...

Средний уходил в армию, а пока работал в электроцехе. Младший учился в седьмом. С этими все было просто. Но была еще Ольга, дочь. В кого выросла? Девчонка была как девчонка, девка как девка. А сейчас?.. И мужик-то попался — куда лучше. Парней — трое, а девчонка — одна. Вот и вырастили. Перед человеком стыдно...

Дверь в кухню с треском захлопнулась. «Легка на помине...» — Митрофан поперхнулся, взглянул на Марию, та сделала вид, что ничего не произошло.

— Сегодня в «Маяке» рубашки лавсановые давали. Я две взяла.

— У меня ж вроде есть?

— Я одну Николаю, другую — Виктору.

Виктор — зять. Хороший парень. Спокойный, уважитель-

ный. Машину знает как свои пять пальцев. Работает по суткам через сутки. Тяжело. Деньги отдает все до копейки. И все же Ольга недовольна. Гремит, пытит, орет... Черт ее знает, что еще нужно?!

Николай — это старший. Мария загодя делала покупки к поездке. Митрофан знал об этом и собирался, должен был поговорить с женой. Но все откладывал и откладывал, надеясь, что и в этом году все будет, как прежде, и сразу после Нового года они отправятся к сыну и внукам. Это была радость, память о которой в течение всего года нет-нет да шевельнется теплом где-то глубоко внутри. Младшего внука звали Сашкой, а старшего — Игорьком. Но ручонки и у старшего и у младшего были такие маленькие и такие пухленькие, и запах от них был такой тонкий и все напоминал Митрофану давнее-давнее, совсем забытое — козу, которую мать доила под яблоней в саду. Вот этот запах молока и яблок, забытый, ушедший в небытие, вдруг воскресал, когда по утрам эти двое, встав во весь рост в своих кроватках, задумчиво пускали пузыри из носа и негромко, словно прислушиваясь к себе, звали: «Баба... Деда... Ба-ба! Де-да...»

Митрофану стало жарко. То ли от выпитого чая, то ли от воспоминаний, или оттого, что сейчас ему все же предстояло сказать Марии о том, с чем он сам никак не хотел мириться.

— «Слушай, мать. А я нынче не смогу отпуск в зиму брать...»

Четыре года из прожитых здесь, на Самотлоре, из года в год Митрофан брал отпуск зимой. Самые лютые, крещенские, морозы он оставлял в Сибири и январь встречал на юге, в семье Николая. То была его маленькая хитрость, что позволяла ему с меньшими усилиями, без надсады преодолевать тяготы этого края. Но это была не та хитрость, когда в рай стремятся попасть на чужом горбу. В бригаде в основном молодые ребята, и они готовы были весь год бурить хоть в пятидесятиградусные морозы, но чтобы отпуск — летом! Только летом — к морю, фруктам, вину... К бархатному

сезону! Поэтому, когда Митрофан брал отпуск зимой, довольны были все.

Было еще одно соображение, и опять же Митрофан не выносил его на обсуждение, но и не таил от других. Заработок в основном был летом. Зима есть зима, и метры под землей даются туго. Летом же, когда одной бригадой бурили на двух кустах, и заработок был другой...

И опять Максимыч не стеснялся — он не воровал. Кому нужен юг, а у кого есть внуки. Да и дети еще рот разевают — только клади. А он, Митрофан, чужого не брал, только свое. Заработанное на своем месте.

Но так было в прошедшие зимы... А сегодня Миганов объявил: «На двух кустах». И не кому-нибудь, а им, бурильщикам. И каждый из них, помолчав, вздохнув, ответил: «Ну что ж... На двух, значит, на двух». И уйти после этого в отпуск зимой, когда бригада только-только входит в новый ритм, когда так много будет зависеть от этих первых, ледяных месяцев нового года, Митрофан не мог.

— Слушай, мать. А я нынче не смогу отпуск в зиму брать...

Мария отставила чашку:

— Что так?

Митрофан начал объяснять ей, что это такое — бурить зимой, бурить на двух кустах, как это тяжело, как это нужно. Но оборвал себя и, стесняясь смотреть в лицо жене, сказал:

— Как-то стыдно, Маша. Взявшись за гуж... Понимаешь?..

— Понимаю,— сжавшись, тихонько ответила она.

Митрофан знал, что если для него эта поездка — радость, то для нее — вдвойне, втройне. Ей было как-то безрадостно в этой холодной Сибири. Ее дело — дети, выросли и теперь мало нуждались в ней. Алексей днями пропадал на работе, ночами у «товарищей». Мария только укоризненно кивала головой и поджимала губы. Что ей оставалось? Выпороть его? Не выпорешь. Поздно. Домой не пустить? Так ведь найдет где ночевать. Да и осталось-то — через месяц в армию.

Младший, Семен, днем в школе, вечером в секции. Спортсмен. Тоже не приласкаешь. Так, только за вихор иногда приладишь, но он тут же норовит по своему вздохнуть. И еще обижается: «Ну что ты, мам, как маленького...»

Эти уже выросли и мало нуждались в ней. Хотя нуждаться-то, конечно, нуждались: накорми, постирай, почини. Но это была как нужда, от которой на душе теплей не становилось. Она бы с радостью насовсем осталась у Николая, тот просил. И ей хотелось, очень. Внуки так согревали ее. Но ведь старика не бросишь. Старику она была нужна. И он тоже был нужен ей.

— ...Ну, съездишь одна. Ну что ты, Мария... Ну, перестань,— он положил руку на ее плечо, на голову, пригладил мягкие, начавшие редеть волосы.— Ну что ты, Маша...

### 3

...Море было огромным, но таким оно ему показалось только в первый день. Далеко заплывать он не решался, робел, а возле берега, на самом берегу ступить было негде. И везде стоял такой визг, как на буровой во время спуска-подъема бурильного инструмента, когда в двух шагах ничего не слышно. Здесь только еще звонче, визгливее...

В первый день он напился. Море опьянило запахами, раздольем, солнцем, на глазах растворявшимся в солоноватой воде. Максимыч растерялся... Он был один, совсем один, и не знал, как распорядиться этой свободой... отвык. Последний раз он проводил отпуск один лет десять назад. Друзья помогли... Одного он знал по Отрадному, с другим вместе работали в Шаиме. Их гостеприимно принял под свою крышу «Нефтяник Тюмени» — дом отдыха. Встретившись, начали с коньяка, разговор был интересный — кто, где, кем, сколько... Незаметно перешли к сухому, потом купались, потом был ресторан, шампанское, потом...

На следующий день — то же самое. И через день. Но уже без него... Когда утром Митрофану поднесли стакан



кõньяка, ему от одного запаха стало так плохо, что мужики, переглянувшись, отступили...

Он не знал, чем заняться. Ну, утром искупаться — это ясно. Ну, позавтракать. Ну, полежать час-другой на галечке. Хотя в палате было спокойнее... А потом? Ну, почитать. Книжку Марья с собой дала. Почитал. А дальше что? Эти же партизаны не отстают: «Пошли, Максимыч. Там твой земляк нашелся...» И действительно, из родного управления...

Десяти дней, проведенных у моря, ему хватило до изнеможения. И когда ранним утром после очередной «встречи» у друзей тряслись руки, к нему неожиданно пришло ясное и четкое решение, от которого Максимыч даже опешил. И целый день ходил задумчивый-задумчивый: колебался, раздумывал, боялся. А потом быстренько собрался и, не прощаясь, убыл.

На вокзале выяснилось, что Каменец-Подольская — уже не Каменец-Подольская, а Хмельницкая область. Но название села осталось прежним, единственным на свете, и он всю дорогу как заклинание повторял: «Сорокодубы, Со-ро-ко-ду-бы...»

В село приехали за полночь. Шофер такси, получив свою четвертную, тут же, устало поблагодарив, оставил Митрофана наедине с этой ночью, в спящей деревне. Чемодан был тяжел, но руки оттягивала не тяжесть — неуверенность. В том, что есть ли где-то здесь, в этой тишине, дом, в котором ради него зажгут свет, где будут рады его приезду. Он даже о себе не знал — рад ли, и был далеко не уверен — нужна ли ему вообще эта поездка? И до сих пор не верил, что решился, что собрался, что, наконец, он — дома, в той самой деревне, где пятьдесят один год назад родился он, Митрофан Грищук, сын Максима и Евдокии, внук Митрофана и Олены Грищуков.

...Воспоминания воспоминаниями, а ночевать где-то надо было. Он попытался сосредоточиться, но безмолвная темнота оглушала и подчиняла... Настолько, что приземленные мысли о ночевке казались в ней непотребно громкими...

«Что за наваждение», — растерянно думалось ему, и он оставался, всматриваясь и прислушиваясь.

Но присматриваться и прислушиваться было не к чему. А вот запах... Аромат! Заполнял все — терпкий, густой, влажный... Но откуда он знаком ему? Откуда он живет в нем, этот далекий родимый запах, что укутал его село с таким непередаваемо прекрасным названием — Со-ро-ко-ду-бы? Груши... Яблони... Сливы! — догадался Митрофан и счастливо рассмеялся. Этот запах проникал в него, когда Мария варила компот из фруктов, присылаемых из родного села. Из посылок тетки, которую он так и не собрался повидать после войны. Не успел? Не собрался? Не-е-т. Тут было другое. Тетка в первом за долгие годы письме рассказала, как все это было... И ему стало немыслимо видеть ее, пережившую страшную, подлую, горькую и долгую оккупацию... А когда в шестьдесят четвертом пришла телеграмма, сердце рванулось обнять, припасть к родному человеку, последней, видевшей самых близких для него людей. Телеграмма пришла слишком поздно, он тогда как раз переезжал из Мангышлака в Шаим, на север Западной Сибири. И телеграмма долго искала его... На этом, казалось, все нити оборвались. Пуловина перерезалась...

Митрофан протянул руку, пытаясь дотянуться до плетня, густо черневшего, казалось бы, рядом. Но запотевшая ладонь только почувствовала невесомость воздуха. Митрофан пошевелил пальцами — как в реке! Он все-таки нащупал плетень и тяжело опустился возле него.

Ему хотелось посидеть, прислушаться к тишине, к себе, разобраться в себе, но с удивлением обнаружил, что и в нем сейчас нет ничего, кроме этой тишины и покоя.

Очнулся он от того, что на него смотрели. Открыв глаза, он увидел собаку, замершую напротив. Встретившись взглядом, она махнула хвостом и подошла ближе. Но Митрофан, отряхиваясь, поднимался.

Над длинной улицей посреди огромного сада вставало солнце. Длинная тощая жердина-журавль медленно и грустно

поднималась, чтобы подтолкнуть его еще повыше, с каждым разом еще чуть-чуть выше, и, подтолкнув, тут же ныряла в глубину колодца, к темному сруб, внутрь которого солнцу вход был воспрещен, хотя оно, распалась в зените, всеми лучами хоть мельком старалось заглянуть туда и растопить прохладу таинственного дна.

Митрофан подхватил чемодан и пошел к колодцу, возле которого уже суетились люди. Как давно все это было.

#### 4

Зима нынче была мягкой. До сих пор двадцать пять — тридцать, тридцать — двадцать пять. Но все знали: так долго продолжаться не будет. Скоро прижмет. И все старались как можно больше сделать до прихода крутых холодов, от которых цепенела тайга и лопалось железо.

Миганов спускал колонну. Обычно на это уходило около суток. Мастер добавил еще восемь часов. Но и этого оказывалось мало.

Грищук выходил с четырех. Принимая вахту, узнал — предстояло спустить сто двадцать четыре трубы. Летом в «ударную» вахту спускали сто — сто десять... Митрофан посмотрел на мастера, пожал плечами: «Выше головы не прыгнешь». Но тому было не до Грищука, и уже становилось ясно, что и Грищук не управится. Не ясно только, где брать людей на сорок второй куст... Там шестая вахта бурила изпод кондуктора, оставшись ради этих первых, легких и быстрых метров еще на восемь часов, на вторую подряд смену.

Вообще начинать бурение на этом кусту, не спустив колонну на следующий, было... авантюрой. Но ему сказали — «Надо», и Миганов ничего не ответил. Потому что понять начальство было можно: впервые благодаря мягкой погоде план января был близок к выполнению. Не хватало трех тысяч метров проходки. Полторы тысячи набирались на добуриваемых скважинах, а полторы тысячи можно было взять только с нового ствола. К забурке был готов только сорок второй..

Но забуриваясь, Миганов какую-то часть ответственно-сти перекадывал на начальство: одной бригадой бурить параллельно на двух кустах — авантюра, не говоря уже о том, что это категорически запрещалось специальным приказом объединения. Бурить на одном и подготовить буровую к бурению на втором — вот объем работы одной бригады... В конце концов выше головы не прыгнешь, тем более если за штаны держит тридцатиградусный мороз...

А Максимыч делал свое дело. И его люди — тоже. Хотя каждая труба, прежде чем скрыться под землей, противилась. И Максимыч работал, чуть слышно разговаривал с каждой из них: «Ну что ты, дурочка, упрямисься? Ну иди, иди... Вот, умница. А эта какая красавица — одна метров девять будешь! И идешь как! Гладко, ровно, с достоинством. Одно слово — красавица!» Максимыч провожал ее глазами, Мишка нет-нет да и прикоснется лишний раз, как бы подталкивая. А Серега, рабочий, уже лихорадочно готовил канатик для следующей трубы. Иногда труба возмущенно содрогалась — Серега с таким старанием накручивал канат-удавку на пипку уже скрывшейся трубы, что новая, обреченно зависнувшая на таях, вздрагивала и выравнивалась и начинала раскачиваться, будто оживая, — не желает идти в забой. Но Серега с ледяным спокойствием накидывал петли на ее стройное тело и, упершись ногой в ротор, цепко держа трос в руках, как уздечку, хрипло кричал Максимычу:

— Давай.

Мишка сосредоточенно, сжав зубы, ловил момент, когда резьба совпадет с резьбой. Руки его были заняты, и он только мотал, не оборачиваясь, головой, сигналиа Максимычу, а тот, выждав мгновение, дождавшись одновременной команды от обоих, включал вспомогательную лебедку, и трос тянул упирающуюся трубу к ее «концу» — началу работы. Но тут Мишка отчаянно взмахивал руками, что означало — «Нет», «Не пойдет», «Строптивная попалась». И все останавливалось, и каждый из трех, внимательно всмотревшись, убеждался — «да», действительно «перекос». И это слово —

«перекос» — несколько минут стояло над буровой, до тех пор, пока труба, облегченно вздохнув, подпрыгивала и вновь свободно не повисала на таях.

И тогда к ней подходил Максимыч и пристально, до слез, вглядывался в чуть попорченную резьбу. Потом одним движением стряхивал рукавицу и, не оборачиваясь, протягивал назад руку, и Мишка без слов вкладывал в нее трехгранный напильник. И Максимыч, тщательно примерившись, нежно несколько раз чиркал по ее тонко изрезанному концу. А все кругом застывали, глядя, как он это делает. Максимыч же, почистив резьбу железом, протирал ее ласково, как бархоткой, пальцем. После чего сам двумя руками направлял трубу, пока Мишка, опустив тормоза, отпускал ее.

И труба как будто узнавала эти руки. Как будто они напоминали ей, кто и для чего, зачем ее сделали, для чего ее сотворили. И сопротивляться после этого уже не имело смысла. Максимыч нежно напутствовал ее: «Ну вот и пошла. Умница. Еще одна... Одно слово — красавица!»

...Ужинали по одному. И последним, как уж повелось, Максимыч. Он любил эти минуты, как любили их все буровики: зайти в сушилку, сбросить влажный, отпаренный изнутри и покрытый ледком поверху отяжелевший полушубок, протереть ветошью руки и... оказаться в тепле, где женщина с открытыми мягкими плечами по-домашнему ставит перед тобой миску борща, и ты, окутываясь паром, по вкусу можешь насыпать перца, подмешать горчицы, добавить соли. Все это дымит горячим запашистым паром и обжигает не только вытянутые истрескавшиеся губы, но и все внутри. И пробивает тебя пот, обильный, крупный и тяжелый, как дробины.

И еще. Ты — сидишь! Какое наслаждение почувствовать тяжесть своего тела как бы со стороны, как будто все эти гири — ноги, руки, плечи — сами по себе, а ты, их обладатель, сам по себе. Они остались там, в углу на буровой, а ты здесь, в столовой. Хорошо!

Максимыч любил и ценил эти минуты и, ужиная послед-

ним, не считал их еще и потому, что знал: Мишка, его первый помощник, тоже любит, когда Максимыча нет на буровой, и буровая ложится на Мишкины плечи... В молодости ведь не бережешься и часто подставляешь себя под непомерный груз. После чего, пожалуй, и приходит уверенность в себе. А без уверенности — не работа. Митрофан тоже понимал, как это было приятно испытать и себя, и свои силы...

«...Господи, как давно это было!..»

Но сейчас спуск колонны. Одна-единственная недовернутая труба делала двухкилометровую колонну негерметичной. И тогда пропадала «досрочка» всей бригады. Митрофан вздохнул и посмотрел на часы:

— Корми, Полина.

— Никак спешишь, Максимыч?

— Приходится, Поля, приходится...

Вот и январь на исходе. А до января был декабрь, ноябрь, когда подводились итоги года. Когда нужно было выполнять и обязательно перевыполнять. Когда бригада впервые осень и зиму вела работы на двух кустах. Когда забурка, кондуктор, передвижки буровой наплывали друг на друга, как льдины на реке во время ледохода. А ты не на берегу, нет, не на берегу...

Митрофан уже поднимался из-за стола, и тут в столовку вошел Миганов.

— Подожди, Митрофан. Разговор есть.

Вообще-то ситуация Максимычу была понятна. Он знал, что мастер рассчитывает спустить колонну до полуночи, чтобы ночная вахта выходила на сорок второй куст. И ему было понятно, отчего планы мастера срываются...

— Что делать, Максимыч... Людей нет на сорок второй...

— Фью... — присвистнул Митрофан. — Не дают? И что же будем делать?

— Вот я тебя о том и спрашиваю...

Митрофан нахмурился. «Добурились. И все молчит, словно в рот воды... На двух кустах! Одновременно! До первой

аварии...» Он поджал губы и потупился. Прервать бурение, поднять инструмент и — до утра? Стенки скважины могут осыпаться, и вся шестнадцатичасовая работа пойдет к чертям... Оставить инструмент в скважине? Это прихват. Порода закапканит трубы, и тогда их никакими силами не выдерешь. Нужно или продолжать бурение, или оставлять бурильщика, чтобы тот время от времени приподнимал и опускал инструмент. Единственный выход... И Максимыч глухо, раздраженно буркнул:

— Понятно...

Миганов посмотрел на него и понял, что объяснять больше ничего не надо. Надо только признать, что отчасти и по его вине Грищуку придется всю ночь провести с тормозом в руках. И он, тоже насупившись, глядя в сторону, пробормотал:

— Им только метры подавай...

— Электрика оставишь?

Миганов на минуту задумался: вообще-то на Максимыча и в этом можно положиться, но мало ли что...

— Оставлю. Ему все равно где спать, в общежитии или у меня в будке... А тебе я на завтрашнюю смену замену найду. Отдохнешь. Зато на сорок втором завтра к обеду забой будет около полутора тысяч...

— Ладно. Поедешь домой, к Марии заскочи... Волноваться будет...

На буровой все шло своим чередом. Подняли трубы, навернули, докрепили, спустили. Только уже чуточку помедленнее... К концу вахты все оживились, а когда вдали высветились фары вахтового автобуса, Мишка исполнил свой коронный номер — чечетку на роторе. В огромных валенках с галошами, в ватных штанах и телогрейке, подпоясанный шкимкой. Чечетка была не чечетка, но то, что трудная вахта кончилась, поняли все.

На пересменку много времени не понадобилось — все яснее ясного. На сорок втором тоже не задержались. Бурильщик, с трудом разжимая губы, только и сказал:

— Забой тысяча сто семьдесят. Будь здоров, Максимыч.— И пошел с буровой не оглядываясь.

Через пять минут автобус, переваливаясь с боку на бок, скрылся за поворотом.

Максимыч постоял на лестничной площадке, проводил его взглядом. Потом посмотрел на будку-сушилку. В половине, отведенной мастеру, горел свет. Недолго. Р-раз — и погасло. Митрофан вошел на буровую и огляделся. Было как-то неуютно. Одному среди глыб и груды металла.

Неуютно было и в душе. Уже давно. Те мысли и вопросы, что не давали покоя в последнее время, сейчас, когда вокруг никого не было и не к чему было приложить руки, навалились всей тяжестью. И один неотступный вопрос не давал покоя, разгорался и вырастал в тревогу, и та отнимала уверенность и рождала зыбкость и мучила.

«...А почему ты, Митрофан Грищук, за тридцать с лишним лет впервые навестил свои родные Сорокодубы? Ведь вспоминал не раз и не два... И не раз и не два отгонял воспоминания...»

...Это письмо лежало в полиэтиленовом пакете под простынями на полке шифоньера. Там были свидетельства о рождении, о браке, диплом об окончании курсов бурильщиков, аттестат за семилетку, орденские книжки. Одно время он держал там и партийный билет, но вскоре вынул и переложил — часто разворачивать этот пакет он не любил. Больше того — боялся. И все из-за того самодельного, из синей грубой бумаги конверта, на котором разведенной сажей было глубоко прокорябано его имя, а внизу, под жирной чертой, вместо «обратного адреса» выведено — «Село Сорокодубы».

Сейчас цвета поблекли, бумага слежалась, но Митрофан помнил его только таким, каким впервые взял в руки. Оно пришло в конце сорок четвертого и как нашло его — объяснить трудно. Горе в те годы находило повсюду...

Писала тетка, старшая по материнской родне.

Он прочитал это письмо только один раз. Перечитывать даже неразборчивые места не стал. Главное он понял с



одного, первого раза, и боль, вцепившись, так и не отпустила...

...О братьях он прочитал внешне спокойно. О каждом из них было напечатано на тонком прозрачном листочке бумаги. И только фамилия, имя и отчество было вписаны фиолетовыми чернилами красивым почерком, а в известии на среднего, Петра, перо, втыкаясь в эту тонкую бумагу, мелкими капельками разбрызгало чернила...

Сестер было две, и обе выжили. Одна приезжала к нему, к другой он ездил сам. Но и ту, и другую видел только по разу — жизнь развела, разбросала, все трое потеряли связь с землей, на которой выросли. Но эта потеря и объединяла их, была тем маленьким клубеньком, спрятанным так глубоко внутри, что доставать его оттуда было больно. При встрече же клубенок разрастался до таких размеров, что просто не хватало воздуха, и до тех пор, пока он наконец не взрывался, осколками брызнув из глаз...

...Митрофан еще минуту постоял, глядя на факел, что бился на ветру километрах в пяти от вышки и освещал на мостках все до мельчайших деталей. Вздохнул. И вздох тот был как всхлип. И застыдившись, как будто кто-то мог услышать, заспешил на буровую — пора было сгонять «вирамайну».

Он поднялся наверх, взялся за ручку тормоза. Нажав ногой на педаль пневмораскрепителя, распахнул клинья, удерживающие тяжесть тысячапятидесятиметровой колонны пятидюймовых труб. Отпустив тормоз, Митрофан посадил всю эту махину на забой, потом повернул рычаг, и вся эта армада, стремительно набирая скорость, повезла вверх до предельной высоты в двадцать восемь — тридцать метров.

Но, подтянув колонну до середины этого короткого пути, компрессор затухающе смолк. Митрофан не понял. И только ощутив темноту медленно гаснущих прожекторов, догадался: «Отключение!» И тело тут же навалилось на ручку тормоза, а нога освободила педаль, и клинья мертво вцепились в гладкую поверхность колонны, начавшей было тихо,

от собственной тяжести, скользить вниз, к точке опоры — забюю.

«Отклонение...» Да, это было довольно частое на Само-тлоре незапланированное отключение электроэнергии.

Митрофан замер в темноте около тормоза. Теперь он мог двигать инструмент только в одном направлении — вниз, к забюю, куда трубы и так ползли под собственной тяже-стью, — если Митрофан отпускал тормоз. А вот энергии, спо-собной поднять их вверх, не было — «отключение!».

Вертлюг — булавочная головка на стальной игле — был на высоте около пятнадцати метров. Это означало, что в рас-поряжении Митрофана было около двух часов. Через два часа ему придется посадить вертлюг на ротор, а долото там, внизу, встанет на забюю. Это критическая точка, после — при-хват...

Два часа... В распоряжении Митрофана было два часа. Если за это время энергию не дадут, а он ничего не сде-лает — авария.

Прежде всего предстояло решить — ждать или что-то предпринимать. В первую очередь — связаться с базой. Там могли ответить на этот вопрос. И Митрофан тяжело побе-жал к будке.

— ...База, база, база. Ответьте сорок второму. База, база, база. Ответьте сорок второму. База, база...

Тишина в эфире стояла мертвая: аккумуляторы, очевид-но, были слишком слабыми, и без прямого питания рация безмолствовала.

— А, черт, — Максимыч в сердцах бросил трубку. Серд-це подсказывало, что покоя больше не будет... Он посмо-трел на часы:

**ПРОШЛО ПОЧТИ ДЕСЯТЬ МИНУТ.**

— ...Коля, поспал. Будя. Поднимайся. Отключение.

— А? Что? Фу... Включи свет...

— Нет света. Отключение. Не дошло? Что делать будем?

— Рация не работает?

— Нет. Аккумуляторы ведь некому зарядить...

— Чтобы зарядить эти, надо на время ставить другие. А где взять?

— У тебя вечно отговорки. Давай вставай, поднимайся...

Максимыч нервничал. Эта неизвестность... Надолго обычно не отключали, но на два часа — вполне могли. А если через два часа не дадут?!

Николай, уже совсем проснувшись, сидел в кровати, и вставать ему, видно, совсем не хотелось.

— Да-а... да-а-дут через часа два, Максимыч. Дадут. Когда это неожиданно отключали на больше? — Но Грищуку подчиняться приходилось без разговоров, эти «старички» к возражениям не привыкли, и, хотя спать хотелось до смерти, Николай потянулся за штанами.— Знаешь, Максимыч, мне Куйбышев наш снился... Стою я под Ульяновским спуском, в руках у меня, сам понимаешь, пенится, а передо мною — белый пароход...

— Вставай, вставай, Коля. Слушай меня. Через каждые пятнадцать-двадцать минут спускай «квадрат» на полтора-два метра. Дадут энергию — сгоняй полностью вира-майну. А я пошел на двадцать четвертый куст, там у освоенцев, кажется, дежурный трактор стоит. Если не дадут энергию, будем поднимать инструмент трактором. Понял меня?

Он еще раз попытался добиться чего-нибудь от рации, но...

«...Наш! Свет в окошке — ваш Куйбышев». И он, хлопнув дверь, вышел из погруженного в темноту балка на освещенную факелом проторенную дорогу.

До двадцать четвертого куста было километра три-четыре. Конечно, и четыре километра — не расстояние, но это если на тебе нет ни валенок на «американской» подошве, ни двух свитеров поверх теплого белья, ни полушубка. Через полчаса Митрофан стал задыхаться. Пришлось сбавить ход и поднять шарф до самого носа — холодный воздух обжигал горло. «Да, это тебе не босиком по росе...» Сравнение понарилось, и Максимыч даже улыбнулся, как бы увидев себя со стороны — там и тут... Но вообще-то сейчас ему не до шу-

ток. Брови, усы, шапка, полушубок покрылись изморозью, делали его похожим на те карликовые деревья, что стояли группками рядом с дорогой. Но деревьям это было привычно — стоять, покрывшись, как шубой, снегом, а Митрофана допекали «живые» капельки пота на взмокшей спине, Максимыч укорачивал шаг, но тогда озноб тут же охватывал все тело. Стоило же вновь прибавить, как спина опять становилась мокрой.

«Будет старухе работа»,— вваливаясь в балак освоенцев, подумал Митрофан и принялся стаскивать полушубок.

— Здорово были, ребята.

— Здорово-здорово, коли не шутишь. С чем пожаловал, отец?

— Максимыч! Каким ветром? Что случилось? — Васильев Павел был знаком. Знакомство, правда, из тех, шапошных. Но все-таки знаком. Опять же возраст у обоих... Где-то они раньше встречались, годах в пятидесятых, что ли... В Башкирии? Пожалуй. Да и тут виделись, здоровались.

Максимыч по привычке сел спиной к здоровенному «электрокозлу», тепла от которого хватало настолько, что в самые лютые морозы приходилось открывать фортки. Это когда его питали электроэнергией. И Митрофан опять подумал: «Будет старухе работа». Усы у него все не оттаивали, и он помог им, растопив остатки льдинок большим и указательным пальцем — таким движением протирают стекла запотевших очков.

Переведя дыхание, огляделся. Отсвет факела попадал в разрез окна и помогал разглядеть тех, кто находился в этой комнатенке. Одного, выходит, он знал — Васильев такой же, как он, бурильщик. Только с ходовой, получается, ушел. В освоенцы. Интересно, сам? Но об этом некогда. Максимыч заторопился:

— Рация работает?

— Откуда, Максимыч?! Мы тут закончили. Все хозяйство уже перевезли, вот только планировку осталось сделать, и все. Завтра с утра НГДУ принимает. Так что мы тут послед-

ною вахту. А рацию радисты вчера свернули.— Васильев аккуратно, неторопливо очищал кусок розоватого сала от прилипшей соли.

— Отключение надолго? Не в курсе? Ничего не слышал?

— А бес его знает.— И Павел своими огромными коричневыми пальцами принялся старательно лущить головку чеснока.— Чай пить будешь? — спросил он и потянулся за термосом.

— Да нет, спасибо. У меня инструмент, ребята, на забое.

Васильев прищурился. Остальные двое тоже как-то напряженно заинтересовались.

— У тебя трактор, Павел. Бульдозер, да? У меня такая ситуация...

Васильеву все стало ясно. Больше того: он сразу понял, что технику придется отдать — когда инструмент на забое, разговоры вести некогда. Но если бульдозер уйдет, значит, планировку делать лопатами. Васильев чуть помедлил, налил чай в стакан. Максимыч нетерпеливо взглянул на него. И Васильеву сразу стало легче — он обиделся и рассердился одновременно: вот, даже чаю не дадут попить спокойно. А лопатами разгрести песок, повезенный «татами», дело не... лопаточное. И почему он должен отдавать трактор? У буровиков должен быть свой, или на худой конец аварийная станция. Во всяком случае не его, Васильева, дело решать, кому трактор нужнее. У него есть задание — сделать к утру планировку, чтобы куст был готов к сдаче нефтепромысловому управлению. И если где-то на буровой инструмент оказался на забое?! Да... Васильев хлебнул чаю. Обжегся. Скривил губы. Отвернулся.

— Вон тракторист. Решайте с ним.— Очередную конфету он разворачивал долго, но без шороха.

— Кто тракторист? — Максимыч повернулся к тем двоим, что, поздоровавшись, не проронили больше ни слова и только жевали молча в темноте каждый свое.

— Кто тракторист, ребята? — еще раз переспросил Митрофан.

— ...Ну, я, а дальше что?

— Как что? Поехали.

— Куда?

— На сорок второй.

— Это зачем?

— Инструмент приподнимем. Заведем трос на лебедку и потянем.

— А с какой стати я это должен делать?

— Как с какой? Энергию отключили, а инструмент в скважине. Прихватит ведь!

— Ну а я-то при чем? У меня путевка — двадцать четвертый куст. Сделать планировку. А ты мне талдычишь — сорок второй, инструмент, прихват, отключение. Так вот я и спрашиваю — при чем здесь я?

Митрофану стало жарко. Хоть раздевайся. Хоть скидывай с себя все до последней майки. Но и этого мало. Нужно что-нибудь холодное. На грудь. На лоб. На затылок. И еще в висках начинает стучать. Тикать. Негромко, но больно. Противно-противно.

Митрофан поднялся. Нужно было что-то сделать, но он забыл что. Вот только что хотел и... забыл. Он поднял руку ко лбу, тяжело разгладил лицо и вспомнил. Нужно узнать, сколько осталось. Он взглянул на часы, и сердце перехватило:

ПРОШЕЛ ЧАС И ВОСЕМЬ МИНУТ.

Еще подсчитывая в уме, сколько осталось, он взглянул на толстое, помятое лицо тракториста, на его зачуханные валенки и свитер и сдавленным голосом переспросил:

— Так не поедешь?

Тот только усмехнулся. Максимыч перевел взгляд на остальных. Мужики как мужики. Один постарше, другой помладше. На тракториста он старался не смотреть. А тот жевал не переставая...

На языке были какие-то слова, много слов, но Максимыч отчетливо понимал, что слова здесь не помогут, что этого пахаря ему не сдвинуть...

Он еще подождал, может, другие помогут, может, не позволят уйти вот так, с пустыми руками. Нет, ничего, молчат. Он еще постоял, еще секунду, и вышел.

Глотнув воздуха, остановился. И сам удивился своей горячности. «Что это ты, Митрофан? Завелся, как... Объяснил бы. Ведь свои же, работяги...» Но вместе со стыдливостью, с недоумением в крови закипала злость. И даже ненависть... «Сидят, суки. Расселись. Их трактором оттуда не вытянешь! Пригрелись. Тариф идет, коэффициент тот же, северные растут, премиальные подбрасывают... Ну, сволочи...»

Трактор стоял рядом с балком. И тихо, на малых оборотах, наборматовал. Максимыч внимательно прислушался к мотору и... улыбнулся. Зло. «Погодите, соколы...»

Железный прут нашелся довольно быстро. Одним концом Митрофан вдавил его в снег, другим — в дверь. Надавил изо всех сил руками, коленкой, всем телом. Прислушался. В трактор сел, стараясь не шуметь. И руки на рукоятки положил так, словно его могли заметить. А потом дернул рычаг, а другой толкнул так резко, что трактор, казалось, присел на фаркоп. И понесся. «...Буду я с вами, сволочами, объясняться. Дождитесь...» И мельком посмотрел на часы:

**ПРОШЕЛ ЧАС И ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ.**

...Николай стоял у ротора. Подпрыгивая на подсвечнике — чуть отапливаемой подставке для бурильного инструмента, он с трудом выговорил:

— Пригнал?

— Пригнал.— Максимыч смотрел на вертлюг — до полной его посадки на ротор оставалось с метр.— Пошли.

Бухта была полной, новой, и хотя канат был толстый и хорошо промаслен, разматывался легко: и смазка, и стальные нити промерзли насквозь, и поэтому виток отделялся от витка без особого труда. Но когда Митрофан потащил свободный конец наверх, на буровую площадку, канат, отпустив метров на семь-восемь, завис, сдавив плечо. «Нет, так дело не пойдет».

— Максимыч, не успеем...

— Цыц... Я буду тихо тянуть, а ты разматывай.— И Митрофан пошел к трактору.

— А что, тракториста нет, что ли? А где тракторист, Максимыч? Вдвоем мы эту дуру разве подыдем? Ты в своем уме, Грищук?

Но Митрофан, сцепив зубы, не отвечал. Сев в трактор, он тихонько, затаив дыхание, на малой скорости пошел от мостков, и толстый канат, разматываясь виток за витком, погнулся следом.

«...Метров пятьдесят хватит? Нет, надо побольше». Отмерив на глаз, он вылез из трактора и пошел к стоящему около бухты Николаю.

— Что стоишь, парень? Руби. Где кувалда?

И сам полез на буровую за кувалдой, и сам, отворачиваясь, чтобы опилка не попала в глаз, стал рубить, прижав канат к острому краю стального полоза.

Минуты через две перехватило дыхание: лед, вставший в горле, не давал вздохнуть. Выдохнуть — пожалуйста, а вздохнуть — нет. Обжигало до рези. А Николай стоял и смотрел, и руки у него были вытянуты по швам. Митрофан же, обжигаясь, рубил и рубил, и, хотя каждый новый его удар был слабее, кувалды он молодому не отдавал. Наконец канат, измочаленный, повис на последних двух-трех нитках. И только тогда Максимыч выдохнул:

— Ударь.

Николай размахнулся, но попал неудачно, канат все держался. Второй удар был точнее.

Потом они вдвоем, по-бурлацки, втаскивали эту «прово-локу» на мостки... Самыми тяжелыми были последние метры, когда с мостков трос надо было втащить на самый верх, к ротору, через ворота, железный настил к которым вел почти отвесно.

Когда же конец каната был несколько раз навернут на барабан лебедки и можно было садиться за трактор, Митрофан на секунду закрыл глаза. И сразу потерял устойчивость... Вместе с испугом пришли и какие-то силы...



Николай встал к лебедке — у него задача была самой сложной: как только канат натянется — убрать тормоза, а после, когда колонна приподнимется метра на полтора-два, вновь выпустить их. А перед этим еще суметь дать отмашку Митрофану.

— Все понял? — Максимыч испытующе взглянул на Николая и, перебирая ватными, непослушными ногами, уже пошел было к трактору. И вдруг остановился. Потом медленно, вспоминая, оглянулся. Николай стоял, судорожно вцепившись обеими руками в длинную стальную ручку тормоза, и глаза его испуганно смотрели на Митрофана, и хотя губы кривились в утверждающей гримасе — мол, да, все понял, — каплю, повисшую у него на кончике носа, он не ощущал. Хотя она ему очень мешала...

— Ну-ну, — Митрофан зачем-то, сняв рукавицу, положил руку на плечо Николая, но тот, так и не выпустив ручки тормоза, только сдавленно-возбужденно вскрикнул:

— Давай, Митрофан, давай.

И Митрофан, уже не оглядываясь, пошел к трактору. Занеся ногу в кабинку, взглянул на часы:

**ПРОШЛО ДВА ЧАСА ТРИДЦАТЬ ТРИ МИНУТЫ.**

О том, что инструмент может не пойти, он старался не думать. Потому что если инструмент не поддастся, это значит — «прихват». Это значит — скважина погибла, потому что больше он сделать ничего не мог, а люди и техника, которых он вызовет на помощь, опоздают. Скважину мог спасти только он, Митрофан Грищук. И вот сейчас он узнает — спас он ее или нет. Кровь прилила к голове, в висках опять заломило, как будто виски — наковальня, по которой тюкают молоточками.

Трактор тихо тронулся с места. Канат натянулся, не пуская. Митрофан переключил скорость...

Ну... Ну...

Трактор тянул!

Митрофан стремительно обернулся — вот тут Николай подвести не мог. Не имел права.

Тот все сделал четко.

Митрофан сбросил газ и открыл дверцу... И вот здесь на него навалилась усталость. И не только усталость — какое-то отчаяние охватило все тело и душу Митрофана. Он вылез на трак и спрыгнул. Ноги дрогнули, и он носом ткнулся в снег. И замер, не вставая. Все было почти так же, как тогда, там, дома, в Сорокодубах.

Старый Ефим, согнутый и высохший, привел его за околицу, где высокой и широкой амбразурой смотрели в далекий лес старые, покосившиеся стойки и перекладина, издавна обозначавшие въезд в село. Немцы их применили по-своему...

Ефим ничего не говорил. Но Митрофан и сам понял, что произошло это здесь. То, о чем писала тетка в своем первом послевоенном письме, прочитав которое, Митрофан больше боялся брать в руки. Оно обжигало. Но строчки, черные и корявые, как распахнутая земля, с тех пор так и стояли перед глазами, и нужно было зажмуриться крепко, до слез, чтобы они исчезли...

И он зажмурился, ноги у него подогнулись, и он упал на эту иссохшую без его слез землю с редкими травинками, в пыльном запахе ковыля и полыни. А ветер, что прибежал из-за леса, мелким ознобом оледенил сердце, и Митрофану показалось, что прямо над ним, над его головою раскачиваются, деревянно стуча друг о друга, шесть его односельчан, шесть его родственников, двое из которых — самые для него дорогие...

И это ознобом вошло в Митрофана, парализовало его, и только слезы, слезы и слезы лились из глаз, а когда он все же сумел проглотить колючую и жесткую горечь, перехватившую горло, то прохрипел: «Мамо! Как же так, мамо...»

А старый Ефим трясся рядом и все пытался то ли опереться на Митрофана, то ли обнять его...

...Когда Грищук поднялся к ротору, Николай уже сызнова наматывал канат на барабан лебедки. Максимыч медленными, неуверенными движениями принялся помогать ему...

— Да-а... Так вы как раз до смены поднимать будете.— На площадке стоял Петр Васильев, один из тех, троих, освещенцев.— А ты, дядя, молодец. Тракторист там до сих пор бушует. Только пусть, говорит, пригонят трактор, я им ноги повыдергиваю...

Митрофан улыбнулся, но улыбка проявилась вялая, болезненная. Его подташнивало, и он почти не мог скрыть этого. А этот «орел» не замечал словно, что у них с Николаем руки уже не разгибаются и движутся как клешни...

— Мне бурило и говорит, иди, Петро, пригони трактор. От греха подальше... А вы тут еще ковыряетесь...

— Не устал? — Максимыч говорил тихо, на громче у него не хватало сил.— Языком молоть, спрашиваю, не устал?

Петр опешил. Потом медленно, как-то всем корпусом надвинувшись на Митрофана, просипел:

— А ты притомился, папаша? Так иди, отдохни. И завтра можешь отдыхать, и послезавтра. Я все сделаю за тебя — на твоём месте. А ты — отдыхай, отдыхай...

Митрофан долго и внимательно смотрел на этого высокого и, видать, сильного мужика, чем-то он стал ему интересен, но чем — он понять не мог. Вроде ведь каждый день видел он вот таких, сотнями, тысячами приезжающих сюда, что слышались про заработки, про коэффициент, про премиальные, про северные. Таких же? Так чем же этот вдруг стал интересен?

— В общежитии?

— В общежитии,— настороженно следя за Митрофаном, ответил Петр.

— В общежитии,— Митрофан только вздохнул. Помолчал.— Это в каком? На Джамиля или на Омской?

— На Омской,— чуть удивляясь, ответил Петр.

— На Омской... Знаю, знаю,— как-то певуче подтвердил Митрофан и неожиданно ощутил, что этот мужик стал ему

скучен. Скучен до... горечи. Почему? Стал неинтересен его интерес? А раньше? Почему ты раньше не задумывался об этом?

Какая-то ответственность ложилась на его плечи. За что? За кого? Перед кем? Этого он еще не понял, не успел...

— Слушай, Петр. Вот там, когда я пришел за трактором, ты ведь понял, зачем мне трактор?

— Ну, понял,— недоумевая, к чему клонит этот «старикан», ответил Петр.

— И знал, я же говорил, что нас — двое?

— Зна-а-л.

— Значит, знал... Вот ты говоришь, иди отдохни. А я, мол, на твое место... Ты — на мое...— Максимыч помолчал, повертел, словно освобождаясь от чего-то, шеей.— Ступай-ка ты, парень, с буровой ко всем чертям!

Петр что-то ответил, что-то заорал обидное. И злое. Матерное. Заорал. Но Митрофан только криво усмехнулся. На душе было муторно. И почему-то этот Петр из головы не выходил. Но работа требовала своего. Ее было много. И они с Николаем накручивали трос, тянули его трактором, поднимали инструмент все выше и выше. А когда до потолка оставалось метр-полтора, как раз еще на один подъем, а скважине уже ничего не угрожало, на буровой ярко, как будто соскучившись, вспыхнул свет.

Митрофан, которого к этому времени уже два раза стошнило, только откинулся на стойку рядом с лебедкой...

А в восемь, девятом, приехала вахта. Это были молодые — утром все молодые,— сильные ребята. И все они были из его бригады. Разные, но... хорошие ребята. И всех их Митрофан знал. Но знал ли их Митрофан? Ведь вот этот, Петр? Но Петр,— это одно, а его ребята — это другое. И все же... Как знать, как знать... И Митрофан испытующе всматривался, всматривался в эти лица... Но ответ не приходил. А ему вдруг понадобился ответ. Позарез понадобился ответ...

— Ну как, выспался, Максимыч? — один из тех, кто приехал ему на смену, хлопнул его по плечу и заглянул в гла-

за. А Митрофан в ответ тоже заглянул, и парень замер в растерянности...

— Ты это о чем, Митрофан? — парень натянуто улыбался, еще надеясь, что Митрофан спросит о чем-нибудь, да и вообще — с какой стати? Почему это Митрофан взялся вдруг задавать такие вопросы?

— Максимыч, ты это о чем? — парень переспрашивал и переспрашивал, выгадывая время, так как прежде, чем ответить Митрофану, этот вопрос предстояло задать САМОМУ себе. Задать и ответить...

А Митрофан не стал дожидаться ответа. Он понимал, что это непросто — взять и ответить. Главное, задать этот вопрос самому себе... А ответ?! На словах ему ответа и не надо. Да и «Урал» вон ждет, нетерпеливо пофыркивая на месте в ожидании его, Митрофана Грищука. Надо спешить...

Уже обращаясь к шоферу, он спросил:

— Миганов на сорок третьем, не знаешь?

Шофер знал:

— Там.

— Тогда давай заедем. Даст он выходной или не даст?!



*Окончил журналистский факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Живет и работает в Салехарде, радиожурналист. Стихи публиковал во многих газетах и журналах. Выходил поэтический сборник «Мост». Сейчас готовится к изданию новая книга стихов.*

**МЫС  
КАМЕННЫЙ**

**Лирический  
репортаж**

**Геологам ЯНРЭ \***

**1**

На сто километров  
И сто поколений вперед,  
Как древняя фреска,—  
Растресканный сумрачный лед.  
Братая космический  
И доисторический век,—  
Блестящий арктический  
Катастрофический снег.  
У низкого солнца  
Повадка сторожкая, кунья.  
И птицы сюда не летят  
С октября до июня,

\* ЯНРЭ — Ямальская нефтеразведочная экспедиция.

А может, совсем не летят...  
И ступив на другую планету,  
Я в пальцах немеющих  
Медленно мну сигарету.  
А некто лохматый  
Подходит и ласково:  
— Кто ты?  
И смотрит спросонья,  
И жмурит глаза от зевоты,  
И тычется носом  
В мою меховую фуфайку,  
И я узнаю в нем  
Ямальскую крупную лайку.  
И вот мы в обнимку  
Стоим отрешенно и сиро,  
Как верные братья,  
На сколоте краешке мира.

## 2

Начальник экспедиции, охрипший с морозов,  
Бурча, как выхлопная труба,  
Намекал на объективность прогнозов  
И пот утирал со лба.

(Подчиненные его понимали,  
Как колеса понимают мотор,  
Когда в нем что-то  
З а б а р а х л и л о!)

Из каши разваренных слов  
Я выловил горькие зерна прогноза:  
Ветер штормовой, усиление мороза  
До сорока минусов...  
Репортеру придется унять свое рвение!

(Мое впечатление:  
План не обеспечен.  
Хвалиться нечем.

Вчера была авария  
На второй буровой,  
Для полного гербария —  
Ветер штормовой.  
Прижались авиаторы,  
На Тамбее — простой...  
Мотали бы вы, товарищ,  
Номер пустой!)

### 3

В семнадцать ноль-ноль,  
Маскхалат содрал,  
В поселок ворвался вечер.  
И началось!  
Начальник прав.  
Далее крыть нечем.  
В самую пору локти кусать!  
Выспались! Не до шуток!  
Снежных зарядов ночной десант  
Не гасил парашютов.  
Их уносило, крутя, во тьму,  
В прорву, в дыру провала,  
Цепляло столбами и на ветру  
Надвое разрывало.  
В изрешеченных насквозь сенцах  
Выли домашние звери.  
Зам по быту, влетов, в сердцах  
Баррикадировал двери.  
А за углом разгорался бой  
Все шире, огромней, выше.  
Противоборствующие гурьбой  
Скатывались по крыше.  
Белый радист, простучав ключом  
Трубы теплосистемы,  
Теперь наваливался плечом



На вздрагивающие стены.  
И с ним, разбойником, заодно  
(Вот за добро плата!)  
Стала условно мигать в окно  
Тихоня электролампа.  
Звон. Дребезжанье. Шорох. Стон.  
Что ж ты оглох, создатель?!  
Нас обложили со всех сторон,  
Даже внутри — предатель!  
Ох, горе-горькое — просто смех!  
Витя, налей по стопке,  
Мы опрокидываем за тех,  
Кто в котельной, у топки!

#### 4

В духе полярной традиции  
Молодой инженер экспедиции  
(Имя — Володя) басочком глухим  
Друга, Райхана, читает стихи:

— Я ни капли не боюсь,  
В облаках витаю,  
Что, как капля, разобьюсь,  
Искрами блистая.  
Закую свою печаль  
В цепи серых буден,  
Будет боль моя кричать,  
Как шаманский бубен...

Слушая стих с добродушием мэтра,  
Мнение уже раскроив, как портной,  
Ухом ловил я движение ветра  
За стеной...

И, понимая, что все это значит,  
Тихо спросил:

— Отчего он так плачет?

Мозг не дремал: начальник, прогноз...

Мой инженер удивился всерьез:  
— Здесь, средь Ямала?  
Да как же иначе!  
Девушек мало,  
Вот он и плачет...

5

Сугробы — голыми прилавками.  
Час дезинфекции. Мороз.  
Как тараканы кверху лапками —  
Из снега прутики берез.

6

Морозно. Солнца желтая клякса.  
Пасмурно. Полусветло.  
Снег без оттенков. Наглядность.  
Машина буксует. Перемело!  
Поземка?  
Так движется время —  
Белыми волокнами в никуда...  
Глаза бессильны пробить брешь  
в белой сфере,  
Слезятся.  
Ни берега, ни следа.  
У пространства — свое время:  
Время Пространства.  
У времени — свое пространство:  
Пространство Времени.  
Первое:  
Еще сорок минут ходу,  
И мы — у цели. Остановка!  
Второе:  
Еще десять километров туда  
И пятнадцать оттуда,

Потом — триста километров домой,  
И опять — сотни туда и оттуда,  
А остановки все нет до скончания дней  
И после...

## 7

Железные люди  
В брезентовых робах.  
Железные руки  
В меховых рукавицах.  
Железные лица.  
На спутанной проволоке бород —  
Изморозь.

Механизм заведен и отлажен.  
Глубже копайте, ребята, глубже!  
Близится третье тысячелетие —  
Эра глубиннейших откровений!  
Железные трубы в железных тисках.  
Вращение ротора. Гул железный. Клубящийся пар.  
Мало мы поняли или много,  
Но общенье с железом  
Нас многому научило!  
Железные клещи мертвой пеглей  
Сдавили горло «кондуктора»,  
Его замуруют в черную дыру,  
В подземелье на глубину 550 метров.  
Стой, железный солдат — стержень удачи,  
Скоро черные недра вдохнут в тебя  
Черную кровь...

## 8

Мастер Пугачев говорит:  
— Это уж, видно, в крови,  
Въелось, пустило корни

Не потому, что кормит,  
А как-то само собой...  
Порой психанешь: довольно!  
Ляпнешь, а тут вот больно,  
Как я без буровой?!  
Тоска меня слижет сразу,  
И, дабы не бить баклуш,  
Из отпуска пятки смазываю  
И ходу — в родную глушь!  
— А цель-то, товарищ, цель-то?  
Хочет вовсю:  
— Пора  
Дыру пробурить до центра,  
До истины,  
До ядра!

Раиса  
Лыкосова

## ВСТРЕТИМСЯ НА ВЫСОТЕ

Рассказ



*Окончила Нижнетагильский педагогический институт, преподавала литературу в школе, работала в газете, на радио. Печаталась в журналах «Урал», «Советская женщина». Вышли две книги «Так рождаются молнии» — очерки и повесть «Починок Кукуй». Сейчас готовится к изданию сборник повестей «Мост».*

И всего-то четыре дня Ленька в Югане, а уже много местных словечек усвоил. «Доброхоты» на языке бабки означают «добровольцы», то есть те люди, что едут на Север. С ее же слов усвоил он в общих чертах историю самих Фигуровых. Домом давно уже заправляет Егоровна. Все другие Фигуровы, по ее словам, по разным трассам да тундрам «летают». Потому-то и переехала она в Юган, поближе к доброхотам. Нет-нет да глядишь и наведаются в командировку или на праздник Валеркины отец и мать, геофизики, которые в мерзлой тундре нефть и газ ищут. Нет-нет да и заскочит сам дед Фигуров, который в тайге сосновый терем-кафе для комсомольцев вытюкивает.

Много этих самых доброхотов повидал Ленька в Юганском речном порту. Видел, как семьями, с разным домашним скарбом, собаками и гармошками выгружались с последнего теплохода вербованные. Как сходили по трапу на берег большими группами с солидными чемоданами, гитарами и «Спидолами» ребята и девушки, которых встречали на машинах с комсомольскими лозунгами и оркестрами. Как уплывали тем же

последним теплоходом, совсем налегке, тоже большими группами и непременно с гитарами в полувоенных форменках студенческие строительные отряды.

Пристроился было Ленька к одному такому отряду учащихся из местного ГПУ, проработал один день на строительстве железнодорожного вокзала, да только к вечеру его в комсомольский штаб вызвали. Там быстро разобрались, что нет у Леньки Караулова направления в кармане, что в лучшем случае он неорганизованный доброволец, сам по себе, а то и вовсе личность подозрительная, без документов.

Что бы делал сейчас Ленька, если бы не встретил в тот вечер в кафе Валерку.

Ленька сидел за крайним столиком и изредка потягивал из стакана горячий чай, он находился в том дремотном состоянии, когда человек после долгого пребывания на холоде попадает наконец в тепло.

Усталость притупила его заботы, он уже ни о чем не думал, а только чувствовал, как от горячего чая тепло волнами разливается по телу, как ноют, отходя, одеревеневшие за день в легких ботинках ноги.

Пребывая в этом смутном состоянии между сном и явью, не сразу заметил, как за столик к нему подсел ушастый светлобровый парняга в модном клетчатом пиджаке.

— С материка припожаловал? — парень подпер голову заветренным кулаком и с веселой нахальцей начал разглядывать Леньку.

— Почему припожаловал? — Ленька сердито набычился, на смуглом лице его проступил розоватый румянец.

— Ясно почему. У нас тут хну с морковкиного заговенья, считай, не завозят.

— При чем хна-то?

— А волосы чем красил? — парень достал из кармана пиджака круглое зеркальце и начал приглаживать упрямо торчащий на лбу белесый вихор.

Леньку уже явно бесил этот ушастик:

— Что, на марафет потянуло?

— Ага. Усек. Ты думал на Севере в чунях да в малицах ходят. Вон стены,— парень обвел взглядом кафе,— видел, чтобы так размалеваны были?

Черные глаза Леньки блеснули усмешливо. Он с любопытством посмотрел на парня.

— Размалеваны. Панно это из цветного стекла. Мозаику, между прочим, древние греки изобрели.

Парень что-то неопределенное хмыкнул и снова устался на Леньку, загадочно округлив глаза.

— Читали и про мозаику, и про Мазая. «Дед Мазай и зайцы», произведение Некрасова, например.

— Ну ты даешь! — тонко пискнув, закашлялся в смехе Ленька. В ответ парень растянул в простодушной улыбке пухлый румяный рот.

— Я даю? Это ты, миляга, даешь! — ушастик хитро сощурил ярко-голубые небольшие глаза и оглянулся на стоявшую за стойкой молоденькую буфетчицу, как бы призывая ее в свидетели.

— Кто из школы среди учебного года сорвался? Кто зайцем приплыл на Север? Я-то, между прочим, законно. Батя завербовался и меня прихватил. А вот кое-кого разыскивают. Так что со дня на день может тут и дед Мазай объявиться,— от собственного красноречия парень до слез расхохотался.

Тяжелая духота охватила Леньку.

— Разыскивают тут одного школьника. В штабе, как узнали, сразу на тебя нацелились. Так что дружинники или милиция в два счета...

Ленька впервые внимательно оглядел кафе и присутствующих.

В зале была в основном молодежь. Сквозь запотелые окна тускло светились огни уличных фонарей. Через пару часов закроют кафе, город затихнет и наступит чуткая до скрипа шагов морозная ночь.

«Куда идти? Что делать сегодня, завтра, через неделю?» — Ленька поежился и, хмуро наморщив лоб, внимательно посмотрел на парня.

Ушастик, привстав, ловким движением придвинул к нему стул и, потирая тыльной стороной руки румяный рот, чуть помолчав, оживился.

— Есть идея.

В ярко-голубых веселых глазах его уже не было и тени насмешки, а только сочувствие.

— Ты местный? — тронутый вниманием, спросил Ленька и неожиданно, доверившись парню, начал выкладывать о себе, ничего не утаивая, все то, что стояло в горле горькой обидой.

— Ясно! Усек! — закивал ушастик, прервав на самом интересном месте, и, положив на стол руку рядом с Ленькиной, с силой сжал его кисть.

— Валерка. Фигуров.

Валерка ходил в буфет, принес на блюде четыре бутерброда, два с ветчиной и два с сыром, по чашке чая. И тут же, уплетая бутерброды и заговорщицки подмигивая Леньке, начал развивать свою идею.

— Жми к нам. На мост. Места хватит. У нас с батей фатера благоустроенная. Кругом болота. Тайга. Сообщения никакого. Живем как на острове.

— А как же?

— Ну, регулярного никакого. А так вертолеты грузы доставляют и прочее. Сейчас ездим по зимнику, летом по реке.

Смуглое лицо Леньки радостно вспыхнуло. Он нетерпеливо заерзал на стуле.

— Как устроиться-то? Направление, небось, и там требуют.

— Есть у меня в комитете свой человек. В штаб за него отчет заносил. Ну и батя не последняя фигура на стройке. Если ты ему про отца все и про классную выложишь, думаю, проймет. У старикана, понимаешь, идея: ежели, говорит, те-



перь среднее обязательное, дак оно само собой приложится. Надо, говорит, вас со школы готовить к работе. А то со всех трибун: учитесь, детки, учитесь! А кончили детки школу, и ни тпру тебе и ни ну.

— Я согласен.— Ленька снова нетерпеливо завозился на стуле.

— Подожди. Ты взвесь. Что и как. У кого кишка тонка — тех в котлован или, скажем, на монтаж пролетов и близко не пустят. Ребята со всей страны пишут, просят. И опять же смотри: на десятки километров никакого жилья, если, конечно, медвежьих берлог не считать.

— Ну я же сказал — согласен. Сколько по тайге топать?

— Топать? Тут тебе не джунгли. К папуасам, что ли, собрался. В парке орбиту видел? Не видел. Ну ты даешь! На Север в ботинках, в демисезонном пальто! Ничего не разведаль и прямо в штаб: прибыл, мол, зайцем, документы идут следом.

Ушастик так раззадорился, что не заметил, как вгорячах подмел с блюда все бутерброды.

Ленька поднялся из-за стола.

— Пошли, если не наврал, конечно.

— Пошли. Пока что к моей бабке. А после выходного оседлаем попутную.

Был поздний вечер, автобусы уже не ходили. Ребята, подгоняемые морозом, размашисто шагали по самой середине бетонки.

— И опять же смотри,— продолжал рисовать Валерка.— Поселок благоустроенный. По телевизору Москву смотрим, а как птица потянет, прямо из окна уток бью с лета. Рыба сама из проруби выпрыгивает. Подойдешь с корзиной, наберешь полную, приволокешь, кинешь деду на кухню. Хочу, мол, икры с яичницей.

Ленька бросил взгляд на лихо заломленную медвежью шапку, из-под которой, еще сильнее оттопырившись под ее тяжестью, торчали красные на морозе Валеркины уши, и улыбнулся. Хоть и загибал Валерка, а Леньке приятно

слушать его, потому что при всем завирательстве ушастиК проявлял явное участие. В сравнении с Ленькой Валерка выглядел уже бывалым северянином. На модный пиджак была небрежно наброшена белая солдатская дубленка, рыжие собачьи унты низко опущены, совсем так, как носят их в областном центре полярные летчики или геологи. Валерка окончил ГПТУ и уже несколько месяцев работал в мостоотряде.

\* \* \*

В дорогу бабка положила ребятам полный рюкзак го-стинцев: клюквы, брусники, горку промасленных блинов, шаньги и пироги.

Зимник тянулся под правым берегом большой реки. Широкое заснеженное русло ее с обеих сторон оторачивала темно-зеленая кайма хвойного леса.

Распахнутую бульдозером, колесами вездеходов голубоватую ленту дороги там, где берег снижался, укрывала близко подступающая к реке тайга.

Несмотря на Валеркины заверения о том, что электрический фонарь или костер действуют на волков сильнее выстрела, Ленька, как ни сдерживал себя, все-таки на каждый шорох угрюмо гудящего на ветру леса, стон или треск мерзлого дерева настороженно озирался.

Под вечер ребят догнал пустой КраЗ, громоздкий зеленый грузовик на высоких колесах. Из просторной кабины вездехода Ленька до рези в глазах вглядывался в темнеющий на таежных прогалинах бурелом. Теперь ему даже хотелось увидеть волков или медведей.

Больше всего врезалось в память то, как они въехали в поселок.

После косого подъема на берег реки КраЗ круто свернул вправо и выскочил на ровную прямую бетонку. Теперь по обеим сторонам тянулись ямистые карьеры, а впереди, на высоком яру, над самой кромкой хвойного леса, словно огромный глаз доисторического чудовища, горело малиновое закатное солнце.

Шофер переключил скорость, КраЗ рванулся вперед, и по опушкам карьеров замелькали сухие сосны-уродцы, сливаясь порой в сплошные черные полосы.

Ленька откинулся на мягкую спинку сиденья и прикрыл глаза. КраЗ, сотрясаясь могучим корпусом, словно продираясь сквозь хаотический хоровод угрюмых теней, мчал на огромный малиновый шар. И Леньке показалось, что он уже физически чувствует притяжение гигантской солнечной силы, которая со стремительным гулом втягивает их в себя. Еще сильнее откинувшись назад, он весь отдался во власть этого притяжения.

— Порядок! — Валерка радостно подтолкнул его в бок.

Ленька открыл глаза и увидел неожиданную для этих мест и такую привычную для себя картину. И ему сразу стало теплее. Справа, в ряд с бетонкой, на дне пологой впадины, застланной пушистым снежным одеялом, незапятнанным даже птичьими следами, четко сверкали совершенно реальные с коротким перекрестьем просмоленных шпал рельсы железной дороги. А впереди, у темной стены высокого леса, желтело десятка четыре одинаковых длинных дощатых домов.

Минуты через две они въехали в деревянный поселок с бетонированными и широкими, как в городе, улицами.

Машина остановилась у крайнего порядка домов, прилепившихся к самому лесу.

Пока Валерка и Ленька бежали по узкой, натоптанной в высоких сугробах тропе, на них налетела стая разномастных собак. Проваливаясь по грудь в голубоватый пушистый снег, собаки радостно поскуливали, кружили около ребят, норовя лизнуть Валеру в руку или в лицо.

На крыльце Ленька задержался. Окинул взглядом поселок, прыгающих около Валерки собак, солнце, пламенеющее костром теперь уже у самой земли. Он все еще был под впечатлением затягивающей, физически ощутимой скорости и в то же время чувствовал в груди неприятный, ноющий холодок от сиюминутной встречи и разговора с де-

дом. Ленька навалился на дверной косяк и, стараясь выровнять дыхание, глубоко втянул колющий морозный воздух.

Дверь отворилась, и он увидел лысого, крепкого в кости старика с сизой щетиной на продолговатых, как у Валерки, скулах. Дед молча стоял в дверях и, вытирая губы тыльной стороной руки, спокойно смотрел на Леньку.

Валерка, задержав взгляд на посиневших, ощетинившихся рыжим пушком Ленькиных щеках, бодро подтолкнул его.

Дед подал гостю сухую твердую руку с култышкой вместо указательного пальца и, назвав себя старым комсомольцем Михаилом Фигуровым, тут же потащил ребят на кухню, где гремел крышкой, фонтанчиком выбуривая из рожка на газовое пламя горелки, эмалированный чайник.

Дед терпеливо и спокойно выслушал Ленькину историю, долго молчал, потом спросил:

— А как насчет школы планируешь? У нас тут и вечерняя есть, честь честью.

Ленька поспешно затряс головой, обрадовавшись сразу двум обстоятельствам: тому, что дед вроде бы соглашается, и тому, что в поселке есть вечерняя школа.

Фигуров-старший действительно оказался добрым человеком. Заставив Леньку в тот же вечер выпить стаканов пять густого брусничного чаю (мыслимо ли с непривычки целый день на морозе), Михаил Кондратьевич тут же, не откладывая, отправился хлопотать за него.

\* \* \*

Ни Валерке, ни Леньке дед потом не докладывал, к кому он тогда ходил. Может быть, к секретарю парткома, может быть, к самому начальнику мостоотряда, по словам Валерки, и с тем, и с другим дед держался на короткой ноге.

Позднее Ленька узнал, что дело с устройством обстояло далеко не так просто, но тогда, в первые дни пребывания в поселке, ему казалось, что все решилось неожиданно легко и быстро.

Дед Фигуров зачислил Леньку на свой первый участок, который строил жилье.

Ленька уже получил на складе спецобмундирование — стеганые ватные брюки и фуфайку. Жилучасток размещался за котельной, в лесу.

На первых порах Леньке поручили самую простую работу. Он должен был обшивать досками каркасы стен. И Ленька всю старался, чтобы оправдать дедово поручительство. Недели через две он уже как завзятый плотник тремя ударами топора вгонял гвоздь в промерзлую древесину.

Шагая по утрам в сером зыбком свете рядом с Фигуровым по улицам таежного поселка, Ленька испытывал новое, необычное для себя чувство самостоятельности и взрослой ответственности за свои поступки: все надо решать самому. По утрам теперь Леньку никто не стаскивал с теплой постели. Поднимался он сам, и получалось это у него как-то на удивление легко, не то что дома, хотя вставал часа на полтора раньше.

Шли дни, и Ленька все больше вживался в свою работу. Многое ему здесь нравилось. Прежде всего то, как на глазах рождалась широкая, светлая от снега и от щепы, обозначенная двумя рядами свежих каркасов улица. И то, как в домах с каждой неделей все отчетливее прорисовывались будущие квартиры. И то, что воздух внутри домов и даже на самой улице был пропитан смоляным, хвойным, древесным духом. И даже то, как плотники в обед большой группой по-хозяйски вразвалку шли по скрипучей от морозного снега бетонке в кафе. Приноравливаясь к ним, шагал рядом и Ленька, непривычно широкий от ватных, не по размеру, фуфайки и брюк. Как бы порадовалась мать, думал он, если бы видела в такой солидной компании своего «непутевого шалопута».

О матери Ленька вспоминал часто.

В первом же письме, стараясь обрадовать ее, он писал, что попал на очень важную стройку, живет у надежных людей и даже в благоустроенном поселке. В благоустроенный

поселок мать долго не верила, потому что в письмах по несколько раз переспрашивала об одном и том же: из какого материала сделан балок, не промерзают ли у него стены. Трудно было поверить матери, если сами Карауловы только еще стояли в очереди на благоустроенную квартиру и если все вокруг говорили, что на Севере большинство, даже семейные, живут в балках.

В поселковое кафе «Опора», когда в столовой на берегу случался «затор», приезжали на вахтовой машине монтажники. Это были молодые, крепкие ребята, с заветренными красноватыми лицами, очень юркие, подвижные и острые на язык. Носили они такие же, как и плотники, стеганные фуфайки и брюки, но ватная одежда на них не висела мешком, а была подогнана по фигуре, как у солдат. Это сходство с военными подчеркивали и туго опоясавшие их широкие оранжевые ремни, и одетые поверх шапок пластмассовые оранжевые каски. Даже в морозные дни Ленька ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из монтажников надевал полушубок и унты.

С первых дней Ленька заметил, что публика эта, несмотря на зеленый возраст, пользовалась у строителей особым расположением. Даже женщины на почте, в магазине или в буфете их пропускали вперед. Весь поселок знал о том, что у монтажников все лето дела не клеились. Воронежский завод задерживал металл. И теперь, когда металл прибыл, работа на пятом участке пошла так лихо, что за месяц на мосту вырос целый пролет.

— Даешь зеленый! — растирая пальцами задубевшие от мороза седые колючие щеки, прокуренным баском командовал дед Фигуров. Плотники дружно расступались, пропуская ребят в оранжевых касках вперед.

За первым участком лежала пологая впадина, сплошь утыканная желтыми свежими пнями. За впадиной на гриве день и ночь гудела бетонка. И Леньке было видно, как на большой скорости, равно пустые или с грузом, яростно рыча, проносились длиннотельные КраЗы, «Уралы» и ЗИЛы, верткие,

обтекаемые ГАЗы и ярко-голубые кургузые «татры». А с первого участка в золотом холодном воздухе плыли звонкие удары топоров, визгливое завывание круглой пилы, разделяющей на доски прямоугольные брусья.

Куда бы ни спешили по бетонке машины, в какую бы сторону ни летели, Ленька понимал, что все их движения подчинены одной силе, одному магниту. Этим магнитом был мост.

И следя за урчащим потоком машин или встречая в кафе вертких ребят в оранжевых касках, Ленька завидовал им. Его и самого, как магнитом, с каждым днем все сильнее тянуло туда, на самую высоту моста, где хозяйничали веселые монтажники да гулял верховой обжигающий ветер. Но об этом он пока что не признавался даже Валерке.

\* \* \*

В конце ноября после сравнительной оттепели установились ясные морозные дни. Густая бахрома инея одела телефонные провода, антенны, дощатые крыши домов, жидкие кроны сосен. Закуржавевший лес и поселок выглядели нарядно. Несмотря на мороз, люди старались подольше задерживаться на улице.

На площади перед клубом, где были залиты каток и деревянная горка, целыми часами играли дети. На широком клубном крыльце калачами лежали, грея носы в хвостах, или носились около детей собаки. Темные фигурки закутанных и оттого неповоротливых, скованных в движениях детей на белом снегу издали напоминали пингвинов.

В один из этих дней на первый участок зашла такая же неповоротливая в толстой овчинной шубе, повязанная по самые глаза пуховым платком женщина. По закуржавевшей шали и обильному снегу на валенках было ясно, что она проделала большой путь.

Женщина остановилась около груды желтых опилок в середине строительного двора, где особенно пронзительно в морозные дни визжала круглая пила, искала глазами

кого-то, близоруко вглядываясь в лица рабочих. Заметив Леньку, подошла к нему, поставила на штабель плах сумку. И еще не узнавая женщины, Ленька почувствовал, как к горлу подкатила теплая волна: он узнал клетчатую сумку матери.

Женщина отвела с лица пуховую шаль и улыбнулась ему ясными серыми глазами. Это была мостоотрядовская завклубша Юля Сергеевна — усколицая улыбчивая женщина. Когда она снимала шаль и на спину ее падали тяжелые, струящиеся, как чистый лен, ровные волосы, ей можно было дать лет двадцать пять. Но все знали, что у нее уже двое детей, и старшая дочь, такая же высокая, ясноглазая, ростом с мать.

Юля Сергеевна сняла с руки шубенку, потерла побелевший кончик прямого хрящеватого носа, достала пакет и вместе с сумкой, продолжая все так же спокойно улыбаться, протянула Леньке.

— Гостинцы, Леня, тебе из дому, — с трудом шевеля замерзшими губами, сказала она. — Закоченела в открытой машине. Вечером заходи в клуб, расскажу подробности. — И, махнув на прощание шубенкой, побежала по темнеющей в снегу тропке отогреться в котельную.

Ленька зашел в один из строящихся домов, поставил на подоконник посылку, разорвал и снял пакет, и глазам стало вдруг горячо-горячо: на желтом подоконнике лежали справка из школы за 8-й класс, табель с его отметками за 1-ю четверть 9-го и письмо матери. Поля письма все были разрисованы каракулями младших братьев.

«Дорогой сынуля, — писала размашисто мать. — Юля Сергеевна ходила в школу и в районо. Спасибо ей, все уладила. Наведывалась к нам по два вечера. И оба раза, такая стыдобушка, — отец был в стельку пьян. Убеждала меня, что ты очень стараешься на работе и не бросил учебы. После нее у меня как будто отлегло от сердца. Старайся оправдать доверие хороших людей, Леня, может, и на отца твой отъезд подействует».



Прочитав письмо, Ленька поспешно открыл сумку, взял связанные матерью толстые шерстяные носки с длинной резинкой, сжал их в руке и задохнулся, и, как ни сдерживался, горячая влага наполнила глаза и предательское тепло расплылось по щекам...

И он вспомнил все.

\* \* \*

В то утро он ушел в школу рано. Накануне был день зарплаты и отец пришел домой нетвердой походкой в сопровождении подгулявших товарищей. Как обычно, куражился над домашними. Ночью Ленька, пытаясь уснуть, несколько раз задремывал, но тут же вздрагивал и просыпался. И потому из дому он вышел в тот час, когда на улице катят еще пустые автобусы, а на площади и в скверах делают зарядку или бегают по аллеям одетые в спортивную форму «трусаки».

Мрачно насупившись, Ленька вяло брел по бульвару, вспахивая ботинками серые, уже прихваченные первыми заморозками ворохи листьев.

На лестнице школьного коридора закашлялся. Из полуоткрытой двери второго этажа выбуривали черные клубы дыма.

Ленька бросился наверх. В химическом кабинете с треском горел шкаф, на столах плясали языки огня. В первую минуту он растерялся. Потом метнулся к окну, рванул на себя суконную штору. Когда с этой ношей двинулся к столам и шкафу, завхоз школы был уже тут. Вместе они начали сбивать пламя.

В химкабинете долго еще держался запах дыма и гари. Целый день в школе только и говорили о пожаре. На переменах Леньке десятки раз приходилось пересказывать случившееся.

Видимо, обсуждали это событие и в учительской. И по какой-то немислимой логике возникло и укрепилось там мнение, что сам Караулов и поджег.

Вечером того же дня на классное собрание вызвали мать. Ребята удивленно оборачивались на нее. Это была полная женщина с бледным смуглым лицом. Она сидела в последнем ряду, неловко прикрывая хозяйственной сумкой не уместающиеся за парту колени. Большие полные руки ее мелко вздрагивали.

Даже сам Ленька, уже привыкший к тому, что его постоянно за что-нибудь прорабатывают, на этот раз был озадачен.

Первым выступил Смолин Михаил, шеф Караулова, как значилось в воспитательном плане у Эммы Александровны. Смолин Михаил вышел к столу, раскрыл записную книжку, откашлялся для солидности.

— Мне было поручено воздействовать на Караулова. Сколько раз Леониду на вид ставили, а какой толк?

Смолин начал листать книжку.

Ленька неподвижно стоял у доски, и по его сонной физиономии можно было подумать, что речь идет вовсе не о нем.

— Вчера на анатомии рисовал двусмысленные фигуры, смешил ребят и чуть не сорвал урок. На машиноведении с Левашовым и Кружкиным травил анекдоты разные. А после уроков пытался избить меня.

— Чего врешь? — резко повернулся к Смолину Ленька, и черные блестящие глаза его остро сверкнули из-под прикрытых, вздрагивающих век.

— Ну, угрожал.

— Еще получишь, если будешь шпионить.

— Вот видите, — обратилась классная к Ленькиной матери. — Как он ведет себя? Пропускает уроки, избивает товарищей, дерзит учителям. В результате утром курил и поджег школу.

Что-то дрогнуло в Ленькином лице. Он поднял голову, посмотрел на классную мрачным взглядом и двинулся к парте. Смуглое лицо его, пока он шел к парте, сделалось бледным, потом к нему резко прилила краска. Ленька молча,

ни на кого не глядя, достал из парты портфель и, выйдя из класса, со всей силой хлопнул дверь.

И снова он вяло брел по мостовой, вспахивая ботинками ворохи листьев. Спешить было некуда. Домой он, конечно, не пойдет. Отец теперь целую неделю будет пьян. И без того тошно.

Ленька не заметил, как ноги сами привели его к деревянной лестнице, круто спускающейся по обрывистому берегу к реке левее пристани. Отсюда был виден весь порт.

На верхней площадке лестницы Ленька остановился, положил сумку на деревянную скамью и стал смотреть на реку. Сегодня все здесь, даже воздух, было пропитано осенней грустью.

На берегу темнели заросли крапивы, обваренной заморозками. Поубавилось работы в порту, и краны стояли, как то грустно ссутулившись. Даже вода изменилась: потемнела, стала вязкой, холодной. И волны от проплывающих катеров расходились теперь по реке тяжелым и редким веером.

Над рекой поднимался едва видимый холодный туман. Ленька поежился и поднял воротник серого драпового пальто. Хорошо было летом лежать на берегу и, зарывшись в горячий песок, слушать музыку. Или нежиться на спине, едва похлопывая ладошками по теплой сверкающей, точно расплавленный металл, воде. И краешком глаза сквозь вприщур сведенные мокрые ресницы смотреть картины живого кино. Оно рождалось тут же по Ленькиной воле. Он видел, как серый элеватор, белые кирпичные склады, груды песка и высокие старинные тополя превращались в незнакомые заморские города с песчаными дюнами и вечнозелеными пальмами, а высоченные ярко раскрашенные порталные краны — в длинноношеих пятнистых жираф.

— Угу-гу-гу-гуу! — хрипло, словно простуженный полярными ветрами, прокричал где-то за поворотом реки теплоход. И Ленька вздрогнул от неожиданности. Он узнал «басок» «Иртыша». Не раз, провожая его в Заполярье, он мысленно прикидывал, как закончит школу, поступит на работу и в от-

пуск придет сюда уже в качестве пассажира. И первое его настоящее путешествие будет не в Африку к слонам и жирафам, а поплывет он на старом, выдавшем виды однопалубном «Иртыше» в Заполярье к моржам и белым медведям.

— Угу-гу-гу-у! — снова, теперь уже ближе, раздался хриплый «басок» теплохода.

— У-ве-зуу! — послышалось на этот раз Леньке в его приветствии. И наблюдая в тот день за разгрузкой теплохода, он уже знал, что сделает. В этом его решении слились и те давние, почти детские расплывчатые мечты о далеких путешествиях и новых землях и переполнявшая его сиюминутная решимость что-то предпринять, достойно, по-взрослому ответить на брошенный ему вызов.

\* \* \*

Весь день Ленька был под впечатлением так неожиданно свалившейся на него радости.

Вечером за чаем деда потянуло на душевный разговор.

— Дома теперь все больше из камня да из кирпича ставят. А по мне лучший материал все ж таки дерево.

— Да-а ведь и в каменных без дерева-то не обходятся,— вставил Валерка.

— Не о том речь,— отмахнулся от него дед, недовольный тем, что его перебили.— Возьмем хоть вас с Лексеем. Рабочая хватка, ничего не скажешь, и у того и у другого имеется. А только, ежели задуматься по-настоящему-то, мало этого человеку. Потому что у него заглавное дело жизни быть должно. Вроде как опора, чтобы на высоте держала. Или меня возьми. Сорок пять лет топором машу. Постучи-ко эстоль, ежели без мечты робить. Валерий должен помнить, какие дома у нас в деревне стояли.

— А все пятистенки или восьмиугольные. Простых не ставили. Лес-то рядом.

— Да-а... Чистые терема! Окошки высокие, в резных кружевах, как солнце выглянет да зазолотит венцы-то, до того на душе весело станет, вроде как вновь на свет наро-

дился. Или по Исети плывешь, бывало. Глянешь на воду, а они в реке-то с крутого берега как в зеркале отражаются. И опять захолонет в тебе все, заморозит начисто.

— Бабка говорит, полдеревни твоими руками выстроено,— не стерпел, вставил опять Валерка.— Дед, как богатырь, силу не знал куда деть. Взвалит бревно на плечо да еще на конец его мужика посадит. И идет — не качнется.— По тому, как остро светились голубые глаза Валерки, Ленке было ясно, что разговор этот он слышал уже не впервой. И тоже непрочь был посудачить о заглавном деле жизни.

Михаил Кондратьевич положил на колени коричневые, с твердыми, чуть искривленными пальцами кисти рук, задумчиво смотрел на них и щупал бугристые мозоли.

— Полдеревни! Это только в своей. А за всю-то жизнь сколь деревень будет? Как укрупняться стали, поредели наши Ключи, будто гребень щербатый. Разве мог я на то смотреть?

— Бабка еще говорила, что ты до зимнего Николаы варежек не носил.

— До зимнего,— счастливо улыбаясь воспоминаниям, кивнул дед.— Собрали с Егоровной монатки и к дочери в Юган подалися. Здесь много из дерева ставят. Не слыхивал, чтобы из мостостроителей кто на наши дома позабедевал.

— Дом так надо строить, чтобы самому захотелось жить в нем,— сорвался опять Валерка, повторяя явно не свои, а дедовы мысли.

Молчал в тот вечер Ленка, смущенно уставясь в стол, хотя мысли о заглавном деле с некоторых пор толкались и в его голове.

Неизвестно, сколько бы ему еще таиться пришлось, если бы не помог случай.

С первого участка потребовали на мост рабочих. В числе выделенных оказался и Ленка.

Распределили плотников по разным бригадам. Ленка попросился на четвертую опору, там работал Валерка.

О монтаже пролетов он пока еще не мог и мечтать, на высоту допускались специалисты.

Времени еще загон и тележка, решил Ленька, отправляясь на другой день во вторую смену. Около двух месяцев находился он в мостоотряде, а еще не видел всей стройки. Из-за короткого светового дня работы даже на первом участке велись без выходных.

Ленька неторопливо шагал по самому краю бетонки, разглядывая занесенные снегом кусты, припудренные тонкоствольные сосны с высокими жидкими кронами. Была у местных шоферов привычка гонять на большой скорости. Еще в Югане Ленька заметил это. Даже автобусы срывались, как застоявшиеся рысаки, поднимая за собой на остановках вихри снега. Морозы и таежные условия выработали у мостоотрядовских водителей и другую привычку — подбирать на дороге всех пешеходов. Уже несколько машин тормозило, чтобы посадить Леньку, а он, помахав шоферам рукой, шел дальше. На вершине холма остановился. Внизу, широкая, как разлив большой реки, лежала заснеженная равнина. С двух сторон к ней подступала чернеющая тайга.

Ледовая дорога, начинаясь некрутым спуском у правого, тянулась в ряд с поднятыми на разную высоту опорами и круто взбиралась на левый обрывистый берег. На дороге была четко размечена двухсторонка: Ленька понял это по движению машин.

На пологом берегу, расположенном ближе к поселку, желтели деревянные постройки — контора, столовая, склады (по описаниям Валерки нетрудно было догадаться об этом). За ними, чуть правее, парили бетонный завод и котельная — серые, вытянутые вдоль берега здания. И главенствуя над всем этим, в морозном, сверкающем неуловимыми золотистыми нитями воздухе возвышалась синевато-серая громада моста. Это не была еще одна непрерывная балка. С берегов, разделенных снежной равниной километра на два, тянулись навстречу друг другу два вздыбившихся железных великана.

В ушах у Леньки громко застучала кровь. Он втянул во всю силу легких колючий воздух, раскинул в стороны руки и с громким криком помчался под гору. И снова будто какая-то волшебная сила подхватила и понесла его. Так легко, радостно, окрыленно он бегал только во сне или в раннем детстве.

Четвертая опора находилась у левого берега, поэтому Леньке пришлось пройти вдоль всего фронта работ. Пять ближних к правому берегу опор уже держали на себе смонтированные пролеты. На средних еще шли буровые работы. Ленька догадывался об этом по высоко взметнувшимся, ровно гудящим буровым установкам. К иным подъезжали машины с бетоном.

Он, возможно, прошел бы мимо четвертой, если бы не натолкнулся на указатель. Свернув с дороги, увидел сначала зеленый вагончик, а за ним седое облако морозного пара. Подойдя ближе, Ленька разглядел сквозь белесый дым кран, стоявший на вмержшей в лед барже. Три бьющих сквозь туман желтых прожектора были чуть приподняты надо льдом и направлены в глубину котлована, откуда и поднимался пар.

«Значит, там вода. Пар от воды»,— догадался Ленька и, осторожно шагнув на деревянные подмости, заглянул в котлован.

Глубоко внизу темнела вода, покрытая крошевом льда. Из нее поднималось десятка три серых бетонных свай. Стены котлована были сделаны из железных ребристых «плах», плотно сцепленных между собой. Опоясывали их перила из проволоки и железного прута и деревянные подмости, которые лежали на льду. Рядом, за бортом котлована, басовито хрюкал на морозе большой насос. Тут же неподалеку из мягкой гофрированной трубы плескала на лед мутно-желтая вода.

По деревянным подмостям и на палубе баржи двигались люди. Вскоре Ленька рассмотрел и Валерку. Он сидел в одном из углов котлована в укрепленной сверху дощатой

люльке и приваривал к ребристым стенам какую-то трубу.

Когда Валерка откинул со лба щиток и выпрямился, Ленька несколько раз свистнул.

— Привет, мужик,— весело помахал ему большой брезентовой рукавицей Валерка.— Квятковский! Эй, мастер! Пополнение пришло,— крикнул он кому-то наверх и, поскольку никто не отозвался, попросил стоявшего на палубе баржи желтоволосого, могучего в плечах парня показать Леньке все их хозяйство.

— Водолаз Гоша,— пожав Ленькину руку, представился высокий богатырь.— Что ж, пойдём. Начальство пока занято. У нас тут небольшая запарка.

Через несколько минут благодаря Гоше Ленька уже разбирался во всем хозяйстве. Железная оболочка котлована называлась шпунтом. Ребристой она выглядела потому, что каждая шпунтина, которая, кстати, весила ни мало ни много две тонны, крепилась с соседней своеобразным замком. Узнал Ленька и то, что дела на четвертой продвигаются медленно, потому что сильное течение в ледоход разрушило в шпунте основание. Одновременно с откачкой воды водолазы отыскивают на дне подмывы, бетонщики заливают дыры. И все-таки уровень воды падает плохо. Сейчас он держится на восьми метрах, значит, повреждения есть и выше. Возможно, есть даже разрывы в самом шпунте.

Больше всего Леньке понравилось хозяйство водолазов. Размещалось оно в трех матросских кубриках в трюме крана-теплохода. «Выходит, это не баржа, а самостоятельный теплоход-кран»,— отметил про себя Ленька.

Перед началом смены мастер, остроносый чернявый паренек в толстых роговых очках, объяснив задание бригадирю, повел Леньку в вагончик. Здесь, записав его в какой-то журнал, мастер провел инструктаж по технике безопасности и объяснил Леньке, что числиться он будет пока что разнорабочим.

— Позднее сможешь помогать плотникам готовить опалубку для ростверка и прокладника,— выходя из вагончика,



сказал Квятковский. Мастер задержался у котлована и показал на торчащие из воды сваи.— Как откачают воду, их бензорезом срежут, а оставшиеся головки зальют бетоном. Это и будет ростверк. Тогда станешь помогать бетонщикам. Если захочешь, освоишь их специальность.

Чернявый мастер вручил Ленке лом и лопату. По деревянным подмостям провел его на противоположную от крана сторону шпунта и, начертив ломом на снегу и на льду окружность, сказал:

— Сегодня будешь долбить майну. Тут небольшая течь. Может, шпунтины разошлись, может, трещина. Как выдолбишь, крановщик опустит ковша два шлаку. Все щели затянет.

— Задача ясна? — понизив голос, важно спросил Квятковский, сняв очки и протирая их платком, близоруко уставился на Ленку.

— Ясна,— бодро ответил Ленка и весело рассмеялся. Без очков мастер выглядел желторотым юнцом, причем из разряда тех слюнтяев, каких Ленка не раз поколачивал.

— Дело швах! — долго сокрушался вечером дед, когда узнал, что Ленка записался на четвертую.— Там и специалисты-то ни черта не зарабатывают. Капризная опора. То с валунами фрезы запарывали, то подводный поток раствор выбивал, то ледоход шпунт нарушил... Тебе же теплые вещи справлять надо... Матери, братьям когда подсобить.

— А Валерка? — усаживаясь рядом с дедом у телевизора, хитро сощурился на него Ленка.— Его-то не отговариваете...

— Валерка! — невесело рассмеялся Михаил Кондратьевич и потер в раздумье подбородок.— И в кого уродился парень? Наговорит, в семь коробов не утопчешь. Двадцать лет, а в голове ветер. Летось Юля Сергеевна с клуба вымела. Танцы тут с одной продавщицей со свистом устроили. А теперь вот с высоты турнули. Увидел главный, что незастропливается, и все, спустил в котлован. Его да Алика Мухаметшина. Того еще лучше. На метлу посадили. Потому как

предупреждали раньше. И поделом. Пусть не лихачит. Шуточное ли дело с 35-метровой высоты на лед брякнуться.

«Значит, Валерка — монтажник! И ни разу не проговорился. Крепко переживает, похоже», — после открытия приятель сразу вырос в глазах Леньки.

Он представил, как Валерка и Алик свободно ходят вверх по балкам и не застропливаются. И ему стало не по себе.

В первый же день работы на мосту по пути в столовую, воспользовавшись тем, что на фермах никого не было, Ленька решил подняться на высоту. Лестница вела круто, почти отвесно, переходные площадки были так узки, что после первого поворота он почувствовал, как остро заныло в животе, а в груди стало пусто.

— Был этой осенью случай, — сбавив звук в телевизоре, продолжал рассказывать дед. — Один так же поспешил, не застропился и сорвался насмерть. Вызвали жену. Поплакала она с нашими и повезла к себе на Украину заместо мужа холодный цинковый гроб. Не захотела здесь в мерзлоте оставлять. Из наших никто не хоронит тут. Летось у кочегара жена в гости на бруснику да по грибы прилетала. Не вынесло у нее сердце здешнего климату. Так тоже не хоронили. Домой в Новосибирск увез.

\* \* \*

Прав был дед, называя четвертую опору «капризной». Два месяца сушили котлован, и каждый день нес ЧП. Только тять раз долбили лед.

Зарботки упали. Рабочие ходили хмурые. Каждый пустяк вызывал взрыв недовольства.

— Когда выдадут сапоги меховые? В катанках, что ли, в котловане купаться!

— Такие очки только комбайнерам носить. Отправьте их в колхоз.

— Что это за каска-маска? Бетон стреляет. Чуть наклонись, она бух тебе на морду.

Если не считать этих коротких взрывов, смены обычно

проходили в напряжении. С левого берега на бетонщиков наступали монтажники. Они уже заканчивали второй пролет, который должен был опереться на четвертую.

О перемещении Ленька и не мечтал. О каких заработках мог он думать, если его рабочий стаж измерялся двумя месяцами. Напротив, он не только не думал о переходе, а гордился в душе тем, что строил мост наравне с опытными специалистами.

Постепенно в бригаде к Леньке привыкли. А водолазы, золотокудрый богатырь Гоша и два брата-близнеца, недавно демобилизованные из флота, по-особому привязались. Может, Ленька своей порывистостью и восторженной душой напоминал им их юность, то время, когда у них самих кружилась голова от великих планов.

Братьев Ленька различал по голосам. Были они похожи не только на лицо, но и фигурой: оба крутоплечие, длинноногие, тонкие в талии. Носили одинаковые, хорошего покроя коричневые дубленки, рыжие лисьи шапки и такие же рыжие унты. Увидев в первый раз на палубе теплохода-крана в таком облачении, Ленька принял их за киношников или корреспондентов.

Водолазы не ездили в столовую. В кубрике у них был приспособлен холодильник и электрическая плита. Обедали компанией, дежуря по очереди.

Однажды, когда Ленька всю смену долбил в котловане лед и сильно продрог, Гоша пригласил его в кубрик выпить растворимого бразильского кофе. Братья усадили Леньку поближе к плите за стол, на котором уже дымилась картошка в мундире, были нарезаны горки хлеба, сала и луку.

На другой день Ленька купил в магазине большую копченую щуку, полный кулек сдобных творожных песочников, и сам заявился в кубрик водолазов.

Заходил иногда в коммуны побаловаться чайком и поговорить по душам «за жизнь» похожий на грача мастер Квятковский. Мастер запоем читал по вечерам детективы, и у него всегда был в запасе свежий сюжет. Братья хорошо

знали Дальний Восток, потому что служили там. Леньке нравилось слушать их рассказы о вулканах, о сопках, о теплых морях и жизни на островах. Сам Ленька тоже вносил небольшую лепту в такие беседы, вспомнив о каком-нибудь необыкновенном случае, вычитанном в журнале «Наука и жизнь» или увиденном в телевизионном «Клубе кинопутешествий».

Водолаз Гоша давно жил на Севере и был одержим одной идеей — превратить суровую тайгу и тундру в субтропики.

— Есть две теории,— зажигаясь, говорил Гоша и начинал мерить крупным шагом ширину кубрика.— По одной мы бурим землю, выпускаем на поверхность подземное горячее море, затопляем чахлую тайгу и болота. В результате теплое, незамерзающее море, вечнозеленая растительность: пальмы, бананы, мандарины и прочее. Или покрываем льды Северного Ледовитого океана черным слоем земли, тогда их само солнце растопит.

— И опять же имеем пальмы, бананы и сок манго,— скептически улыбаясь, добавлял мастер.

— Да опять же! — вскидывал кудрявую голову Гоша.

— Так! Так! А где ты возьмешь столько земли?

— Разве земля — проблема?

— А чем ты ее доставишь?

— Вертолетами,— подмигивая мастеру, тонким голосом заливался Ленька. После этого разговор с далеких планов переходил на ближние.

Тут, словно опомнившись, мастер смотрел на часы и спешил в котлован. За ним поднимались и остальные.

Не раз по пути в столовую заезжали посмотреть, как продвигаются дела на четвертой, их соседи слева, монтажники. Как всегда, подтянутые, похожие на солдат в своих оранжевых поясах и оранжевых касках, весело щелкая кедровые орехи, они расхаживали по подмостям и заглядывали в котлован.

— Так! На какой отметке стоим, братцы!

— Метров пять-шесть.

— У вас же на четырех было?

— Как паводок ударит, у них на пятнадцати будет. Опять по макушку затопит.

— До следующего ледохода дыры латать будут.

— А им что, привыкать?

— Жуланы желтобрюхие! — сердито отмахивался от них бригадир, в сердцах сплевывая на лед.— Вам что? Поохальничали и укатили. А то невдомек, что река русло сменила.

— Ну дак чо, колотитесь,— направляясь гуськом к машине, уже более миролюбиво бросали монтажники.— Поплюем, бывало чо, на макушку вам.

— Проектировщики рисовали на стремнине-то девятую и десятую, а принять головной удар пришлось нашей,— долго еще, словно оправдываясь перед кем-то, ворчал бригадир.

Четвертая стала в центре внимания всей стройки. От Валерки (его снова перевели на высоту) Ленька узнал, что те же монтажники за глаза величают ее БАМом.

«От этого котлована,— писала областная газета,— зависят сроки сдачи моста». Ежедневно теперь здесь бывали главный инженер и начальник мостоотряда. Кино- и телевизионные операторы, появляясь на стройке, прежде всего спешили сюда. Даже несколько раз наведывалась заведующая клубом Юля Сергеевна. Она писала какую-то статью для юганской газеты.

Увидев Леньку в поселке или на стройке, Юля Сергеевна всякий раз останавливала его и подробно расспрашивала о том, как Ленька привыкает к работе и что пишут из дому. О школьных делах Юля Сергеевна была наслышана. Как заместитель секретаря парткома, она регулярно вывешивала бюллетени успеваемости вечерников в коридоре конторы на берегу и в вестибюле клуба в поселке.

Именно ей, в одну из таких бесед, Ленька рассказал о своем желании работать на высоте.

— Летом на курсы монтажников будут набирать целую группу. Если хорошо покажешь себя в школе и в коллекти-

ве, думаю, что пошлют,— заверила его тогда Юля Сергеевна.

Мечта о высоте была теперь столь же захватывающей, сколь и реальной. Она внесла в сердце Леньки веселость и ясность, вытеснила прежние обиды и горечь, а с ними тревоги и волнения.

В душе его с новой силой рождался иной мир, мир причастности к большому делу и взрослого рабочего товарищества. Во всем этом он находил радость и торопил дни. И все у него теперь получалось легко: руки словно сами искали работу, уроки с одного объяснения усваивались.

Смешно и досадно было теперь Леньке вспоминать о том, как несолидно он вел себя в школе, дерзил и досаждал классной, пропускал уроки и ссорился с ребятами.

\* \* \*

Приближался срок сдачи котлована. Это событие приурочили к новогоднему празднику.

31 декабря Ленькина бригада вышла во вторую смену. Передавая вахтенный журнал мастеру Квятковскому, начальник участка сказал: «До десяти откачаетесь и лед выберете. Успеете еще Новый год встретить. Утром третья смена начнет резать оболочки свай».

Впервые за многие недели начальник участка уехал в поселок рано, вместе с вахтой. Воды оставалось метра полтора-два. Смена обещала быть спокойной.

Жидкий кустарник на обрывистом берегу черными штрихами расчертил розовую полосу заката. Потемнел и резче проступал на морозном румянце зари нависший высоко над четвертой ажурный пролет моста. Рядом отвесной скалой чернела временная металлическая опора.

Еще не отгорела вечерняя заря, а уже вспыхнула над рекой цепочка огней.

Новогодняя ночь выдалась как по заказу, ясная, с чистым звездным и лунным небом.

Бригаду на днях пополнили опытные плотники. Пришло

время готовить опалубку для ростверка. За компрессорной будкой на льду уже лежало несколько штабелей плах. Здесь второй день пилили и тесали плотники. От опилок и досок шел резкий скипидарный запах. Мерное жужжание пил, стук топоров и этот запах напоминали Леньке о том, как вечерами у себя во дворе они пилили и кололи с отцом дрова, а братья, весело пурхая по снегу, таскали и укладывали их в поленницу. Запах дерева и смолы напомнил новогодние праздники, когда в доме так же пахло лесом и хвоей. Пока Ленька развешивал на елке лампочки, братья, присмирев, усаживались на диван и затаив дыхание ждали того момента, когда он нажимал на выключатель. На влажной темно-зеленой хвое вспыхивали разноцветные огоньки. Братья от восторга кричали, налетали на Леньку, обнимали, нависали на плечи. На их шум прибежала из кухни мать, от рук ее пахло сдобным тестом, и сама она была в муке или в саже. Мать приваливалась к косяку двери, с улыбкой смотрела на елку, на суматошную возню сыновей, и на бледном лице ее вдруг молодо загорались такие же глубокие, темно-карие, как у сыновей, глаза.

Припомнился Леньке и прошлогодний вечер с высокой елкой и громкой музыкой в большом актовом зале. И то, как вокруг елки вместо одноклассников кружились какие-то таинственно наряженные существа. И то, как Ленька с Кружкиным и Левашовым, чтобы досадить Эмме Александровне, явились на бал без костюмов, как они вначале толкались и путали хоровод и как потом в классе долго примеряли по очереди принесенные и спрятанные в парте маски зайца, волка и крокодила Гены.

Ленька любил новогодние вечера и всегда с волнением ждал их. И на этот раз в шкафу рядом с Валеркиным висел тщательно отутюженный, такой же модный, в крупную клетку, его недавно купленный в поселковом универмаге костюм.

Закончив обделявать очередную доску, Ленька подошел к штабелю, воткнул в плаху топор и прислушался к доносившимся из котлована звукам. Все ему было здесь уже

привычным: стучал компрессор, приглушенно гудел кран, надсадно хрюкали на морозе насосы, плескала вода. На опорах, на собранных пролетах моста горели такие же ясные, как на небе, звезды. Только были они крупнее и ярче. Тревожное чувство шевельнулось у Леньки в груди: что-то было не так в этой знакомой картине. Он еще раз пробежал глазами по мерцающей в морозном воздухе желтой цепи огней, протянувшейся с одного берега на другой, и обнаружил, что цепь была не сплошной: прямо над головой Леньки зиял провал. Еще выше задрал голову, он не увидел крана. И кран и горевшие на нем электрические лампочки прятало от глаз стоявшее над котлованом морозное облако пара.

Обогнув дизельную будку и теплоход-кран, Ленька очутился на подмостях. Он увидел застывшие над котлованом фигуры рабочих и понял, что произошло.

— Вода!

Это слово еще никто не сказал. Люди молча смотрели вниз и не верили своим глазам. И по тому, как сгущался и тяжелел воздух, становилось ясно, с какой быстротой она прибывает. Вот в слабом рассеянном свете прожекторов Ленька заметил, как холодно блеснула ее темная поверхность вперемешку с серым крошевом льда.

— Водолазу тщательно прощупать основание и дно,— распорядился мастер Квятковский.

Тревожно текли минуты. Все выше поднималась вода. «Капризная» опора решила показать и в праздничную ночь свой норов...

\* \* \*

Вахтовую машину, что везет в поселок бригаду, отработавшую двойную смену, первым приветствует солнце. Оно поднимается из-за темной полосы леса и, чуть вздрогнув, заливает холодным светом поселок, лес и снега. Рабочие устало щурятся, им больно смотреть, столько сразу света ударяет в глаза. Радужными огоньками искрят снега. Неуло-



вимые блестяшки порхают по воздуху. Такая же ясность и радужные всплески царят и в душе Леньки.

Ленька плотнее смыкает густые ресницы. Когда-то он так же щурил глаза, лежа на теплой воде, а вокруг блестяла, точно расплавленный металл, река с зелеными травянистыми берегами. Сейчас тоже все сверкало и переливалось, но блеск этот был другой, стеклянный, холодный и более резкий. Он высекал из непривычного глаза слезу. И мир, что лежал в тишине вокруг, был уже не сказочно далекий, нарисованный воображением, а осязаемо реальный, промерзлый и неподвижный. Теснее придвинувшись к борту и укрывая лицо от ветра, Ленька почувствовал, как отяжелели руки и ноги.

\* \* \*

Недолгий путь от четвертой опоры до поселка. За двадцать минут преодолевают его вахтовые машины. Но за это время Ленька как бы заново пережил все события новогодней ночи. Тупая боль в мышцах, надолго врезавшиеся в память ощущения каленного на морозе железа и жаркого пота, потемневшие от усталости лица людей, сосредоточенно притихших или дремавших рядом с Ленькой в машине, свидетельствовали о том, что события эти происходили наяву. Но было что-то от фантастического сна в том, как «кипела» на морозе, стремительно поднимаясь в огромном квадратном котловане опоки, ледяная вода. Как металась высвеченные прожекторами в морозном тумане черные силуэты людей. И голоса их тонули в гуле компрессора и насосов... Как вдруг оборвался этот гул и наступила тяжелая, гнетущая своей неизвестностью тишина и мрак.

Когда Ленька, увидев облако пара над котлованом, подбежал к застывшим у опорки людям, другие во главе с мастером и бригадиром уже энергично действовали, устанавливали насосы, опускали на дно дежурного водолаза, выводили из сонного оцепенения могучий кран с нависшей над котлованом стрелой.

Пройдет еще немного времени, и сигнал тревоги по тугим проводам долетит от четвертой опоры до поселка. И не сняв праздничных костюмов, в ярких галстуках, на ходу напяливая шапки и натягивая на плечи полушубки, выскочат на улицу водолазы и другие необходимые в таких случаях специалисты. И во всех домах, где уже ярко горели елочные огни и весело позванивала расставленная на столах посуда, люди посерьезнеют, покачают головами, и на всю новогоднюю ночь рядом с весельем поселится в их сердцах и будет неотступно тлеть незатухающий уголек волнения: как там, на четвертой? Через час на четвертую прибудет группа технических руководителей во главе с начальником мостоотряда. Но весь этот час, начиная с момента, когда кто-то первый увидел, как начала прибывать вода, подлинным героем стремительно развивающихся событий был мастер Квятковский. Тот самый очкарик, которого Ленька считал чуть ли не ровней себе по годам, к тому же слюнтяем и слабomощным интеллигентом. Сейчас, сидя в кузове вахтовой машины, Ленька чуть зубами не закрипел от досады на себя: можно же так ошибаться в людях! С восхищением и замиранием сердца вспоминал он сейчас, как этот щуплый и хлипкий с виду очкарик с ловкостью и бесстрашием циркового канатоходца пересекал котлован по узкой обледенелой металлической балке, рискуя каждую секунду сорваться в парящую, черную, неуклонно и жутко прибывающую воду. Ленька даже не спрашивал себя, сумел бы он не то что пробежать, а хотя бы проползти по этой чертовой балке над зловеще чернеющей бездной: куда там, мало он, видно, еще каши ел! А он еще имел нахальство воображать, что без труда может уложить на лопатки тощего мастера.

Ленька конфузливо посмотрел на сидевших рядом строителей: не прочитал ли кто случаем его мысли? Но соседи его дремали, покачиваясь на неровностях дороги. Сконфузился Ленька не только от своего невысказанного вслух бахвальства, сколько от воспоминания об одном неприятном эпизоде прошедшей ночи.

Когда дежурный водолаз (им был на этот раз один из братьев-близнецов) поднялся со дна и доложил, что бетон, которым была заделана восьмиметровая дыра в основании шпунта, уплыл, как ни поражен был Квятковский, не растерялся. А угроза была серьезной. Целый месяц работ сводился к нулю. И это грозило сорвать сроки сдачи моста. Ленька мельком взглянул на освещенное лучом прожектора лицо мастера, оно казалось непривычно сердитым, с напряженными желваками на скулах, но страха в нем не было.

— Всем долбить майну вдоль правой стенки шпунта! — резко выкрикнул Квятковский и побежал в вагончик, чтобы проинформировать начальство по телефону и вызвать необходимых людей и технику. Рабочие начали вооружаться ломом, топорами, лопатами. Ленька вместе с другими бросился за инструментом.

Он прибежал на свой плотницкий участок, выбрал увесистый колун и помчался обратно. Тревожное состояние не покинуло его, а куда-то глубоко отступило перед азартным желанием померяться силами со стихией. Ленька уже оглябал теплоход-кран, когда увидел нечто такое, отчего бодрость вмиг его покинула. В двух шагах от него змеилась глубокая трещина. Еще минуту назад, он мог в этом поклясться, ее не было тут. Леньке стало по-настоящему страшно. Все разговоры о том, как сжатая, перегороженная опорами река бунтует, беснуется, настойчиво ищет выхода своей могучей энергии, вмиг промелькнули в его голове. Важно пробить хотя бы одну небольшую брешь. Ей бы, реке, только зацепиться, получить «точку опоры», а там уж ее никакие железобетоны не удержат, все по косточкам разметет...

Ленька не помнил, кто сказал эти слова однажды за обедом в кубрике, но сейчас они молнией пронеслись в его голове. Он оцепенело смотрел на трещину в метровом ледяном покрытии реки, и в этот миг в поле его зрения попала вода. Она растекалась по поверхности льда мутной,

с переливами отраженных огней широкой волной. Она наступала, захватывала все больше и больше пространства, и Леньке показалось, что лед под его ногами ощутимо заколебался. Скорее бежать, крикнуть, сообщить, что река, напружинив мускулы, ломает лед. Вот-вот неукротимая лавина воды и ледяных громад придет в движение, смахнет временную опору, и могучая темнеющая громада пролета, вздыбившегося высоко над рекой, страшной железной лавиной обрушится, похоронит, увлечет за собой на дно ничтожно маленьких копошащихся на льду людей.

Ленька успел взбежать на палубу и влезть на лестницу крана, когда все вокруг мгновенно утонуло в непроницаемом мраке. Он понял, что это рухнул мост.

Ленька сидел на корточках, постепенно приходил в себя, стараясь сообразить, что произошло. Значит, плавкран не утонул, догадался он. Но что значит эта тишина? Может, он оглох?

— Всем, у кого есть инструмент, немедленно долбить майну,— прозвучал в темноте совсем рядом с Ленькой резкий, но твердый голос мастера.

Ленька медленно распрявился, ощущая, как дрожат ноги. Рядом вспыхнул луч фонарика, осветив людей, торопливо спускающихся с палубы. «Куда они? — подумал Ленька.— Ведь река сломала лед».

Луч фонарика больно ударил по глазам: Ленька попятился.

— В чем дело? — удивленно вскинул черные брови Квятковский.

Ленька хотел объяснить, что лед раскололся и, возможно, плавкран уже относит по течению, но вместо этого неожиданно для себя ляпнул такую глупость, при воспоминании о которой у него даже сейчас, в машине, покраснели щеки и уши.

— Мы дрейфуем! — с усилием шевеля непослушными губами, сказал Ленька.

— Не мы, а ты сдрейфил, похоже,— спокойно сказал

Квятковский, и Леньке показалось, что глаза его за очками насмешливо сверкнули.

— Там вода,— уже по инерции продолжал Ленька.

И в это время загорелся свет: прожекторы у котлована, цепочка огней на фермах моста. И тотчас снова загудели насосы, а кран обрушил удар ковша на ледяной панцирь реки.

— Вода? — переспросил мастер.— Понятное дело, насосы качают. Ты вот что, парень,— сердито сказал Квятковский,— держись, если такую работу выбрал.— И уже на ходу, устремившись к трапу, крикнул: — На майну! Живо!

Только сейчас Ленька обнаружил, что стоит на лестнице, крепко вцепившись одной рукой в какую-то скобу, другая его рука по-прежнему сжимала топорище. Волна радости от того, что могучий красавец мост высится все так же гордо и непоколебимо, охватила Леньку. И размахивая колуном, как краснокожий индеец боевым тамогавком, он бросился вслед за мастером.

...Сейчас он попытался последовательно и детально вспомнить, что было потом, но память его не сумела составить единую, законченную картину из лиц, голосов, гула насосов, рычания самосвалов. Он снова увидел, как стрела крана, пересекая котлован, поднималась вверх, а затем стремительно падала, и ковш, ударяясь о лед, крошил его и расшвыривал по сторонам мелкие осколки. Вспомнил, как вместе со всеми остервенело долбил лед, таскал мешки с цементом, помогал устанавливать бетонолитную трубу, и пот заливал ему глаза, как болели руки, ныла спина и уже совсем не было сил крутить ручку помпы, подающей воздух водолазам, спустившимся на дно реки. Водолазы провели под водой несколько часов. Тщательно провсрив основание шпунта и дно, они выяснили, что бетон попал на плавун, оседал, оседал и скатился по крутому откосу. Задача состояла в том, чтобы задавить плавун. Ленька вспомнил, что за все время, пока он крутил ручку помпы, его сменяли раза три или четыре, и как однажды вдруг крутить стало

легче, и, скосив глаза, он увидел, что за другую рукоять, помогая ему, встал главный. Главный инженер, которого Ленька считал человеком совершенно недоступным, представителем каких-то других, недостижимых сфер, по-приятельски ласково улыбнулся ему и даже озорно подмигнул.

...А потом была яркая утренняя заря. И все они тесной группой стояли на слегка зарозовевшем льду. Покуривали или просто с наслаждением вдыхали морозный воздух. Ленька всматривался в лица этих людей, они были знакомыми, и в то же время ему казалось, что он видит их впервые, словно узнает заново. Вот стоит и сонно улыбается могучий увалень Гоша. Но этот неторопливый привычный Гоша сливается в сознании Леньки с тем Гошей, который час назад с обезьяньей ловкостью и быстротой облачался в свой водолазный костюм или сердито спорил о чем-то с главным инженером. Из этих двух образов возникал новый Гоша, похожий и не похожий на прежнего. Цепким и сильным казался теперь Леньке щуплый очкарик Квятковский. Он как будто стал даже немного выше ростом за одну ночь. Что-то новое увидел Ленька во всех. А может быть, люди вокруг него не изменились, а в чем-то изменился он сам?

Но Ленька не мог ответить на этот вопрос. Да и усталость все сильнее охватывала его. Он прижался к соседу по машине и прикрыл глаза.

И уже в дреме вспомнил, как там, когда они стояли на розоватом льду, в руках у Гоши появилась бутылка шампанского.

— В кармане шубы была,— пояснил он.— Так торопился, что выложить дома забыл.

Но оказалось, что таким забывчивым был не один Гоша. Сразу три пробки хлопнули одновременно, салютуя Новому году, который в это время шел по земле где-то уже очень далеко от моста, нависшего с двух сторон над окованной льдом широкой сибирской рекой.

Когда Леньке подали стакан, на треть наполненный янтарным искрящимся вином, главный инженер сказал:

— Что ж, Леонид, считай, что первый экзамен на мостостроителя выдержал. Думаю, сдашь и остальные.

Главный это сказал без улыбки, серьезно, и Ленька почувствовал, как радостно вздрогнуло его сердце. А мастер Квятковский состроил при этом гримасу и показал Леньке большой палец.

— Толковый парень,— все так же сонно улыбаясь, пробасил водолаз Гоша и тяжелым шагом направился к машине. За ним двинулись и остальные.

\* \* \*

Дома Ленька находит на газовой плите еще горячий эмалированный чайник и прикрытые на столе газетой сахарницу с конфетами и тарелку с ватрушками и пирожным. Тут же под бутылкой ликера белеет записка.

Ленька сбрасывает в коридоре шапку, фуфайку и валенки, разворачивает записку и идет в комнату.

«Опять зашиваетесь, ребя! Теперь уже точно поплюем на макушку!» — читает Ленька новогоднее Валеркино поздравление. Широко зевая и потягиваясь, он садится на кровать, с минуту смотрит на зеленую ежистую сосенку, что стоит в углу между столом и телевизором, и, пошарив в кармане, достает огрызок карандаша. На смуглом осунувшемся лице его застывает плутовская улыбка. Ленька придвигается к столу, снова разворачивает записку.

«Встретимся на высоте!» — жирно выводит он под Валеркиным посланием. Тут же, не раздеваясь, валится на кровать и засыпает.

## СОДЕРЖАНИЕ

И. Ермаков	ПЕТЬКИНА ТРАГЕДИЯ. (Из книги «И был на селе праздник») 3
С. Ермакова	ЦИКЛ СТИХОВ 16
Р. Ругин	ЦИКЛ СТИХОВ. (Перевод с ханты И. Фонякова и М. Яснова) 19
Н. Смирнов	ГДЕ-ТО КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ. Очерк 25
Н. Шамсутдинов	ЦИКЛ СТИХОВ 46
М. Шульгин	ЦИКЛ СТИХОВ (Перевод с ханты В. Кузнецова и А. Тетеревлёва) 50
Ю. Афанасьев	СПАСИБО, ПИОНЕР ДЗЕНЫ Рассказ 54
С. Соловьева	ЦИКЛ СТИХОВ 62
А. Гришин	ЦИКЛ СТИХОВ 67
Т. Чучелина	КУРОПАТКИ ТАКИЕ БЕЛЫЕ. Хантый-ская сказка. (Перевод Г. Сазонова) 71
М. Анисимкова	ОЛЕНЬЯ ШКУРА. Мансийский сказ 74
А. Тарханов	ЦИКЛ СТИХОВ 82
А. Васильев	УСЛОВНЫЙ ПРОТИВНИК. Стихи 86
Е. Айпин	СТАРШОЙ. Рассказ 89



<b>В. Нечволода</b>	ЦИКЛ СТИХОВ	99
<b>С. Чевгун</b>	ЦИКЛ СТИХОВ	105
<b>А. Киршов</b>	ЦИКЛ СТИХОВ	110
<b>В. Волдин</b>	ЦИКЛ СТИХОВ. (Перевод с ханты В. Нечволоды)	111
<b>Л. Заворотчева</b>	МАШИН КОЛОКОЛЬЧИК. Очерк	115
<b>Л. Лапцуй</b>	Я СЛУШАЮ ТЕБЯ, ЗЕМЛЯ! Поэма. (Перевод с ненецкого М. Ясно- ва)	136
<b>В. Острый</b>	ЧЕТЫРЕ НОЧИ БУРИЛЬЩИКА ГРИЩУ- КА. Повесть-хроника	145
<b>А. Гольд</b>	МЫС КАМЕННЫЙ. Лирический репор- таж	178
<b>Р. Лыкосова</b>	ВСТРЕТИМСЯ НА ВЫСОТЕ. Рассказ	185

ИБ № 475

**ВАМ, РОМАНТИКИ!**

Для старшего школьного возраста

Редактор Марченко С. В.

Художник Киприн С. С.

Художественный редактор

Филаненко Ю. Н.

Технический редактор

Проскурникова К. Г.

Корректоры Никитина И. П. и Казанцева М. А.

Сдано в набор 10/1 1978 г. Подписано в печать 6/VI 1978 г. НС 12121. Бумага типографская № 1. Формат 70×100/32. Уч.-изд. л. 10,0 л. Усл. печ. л. 9,0. Тираж 15.000. Заказ 36. Цена 50 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

В16 **Вам, романтики!** Проза и стихи. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1978.

224 с. с ил.

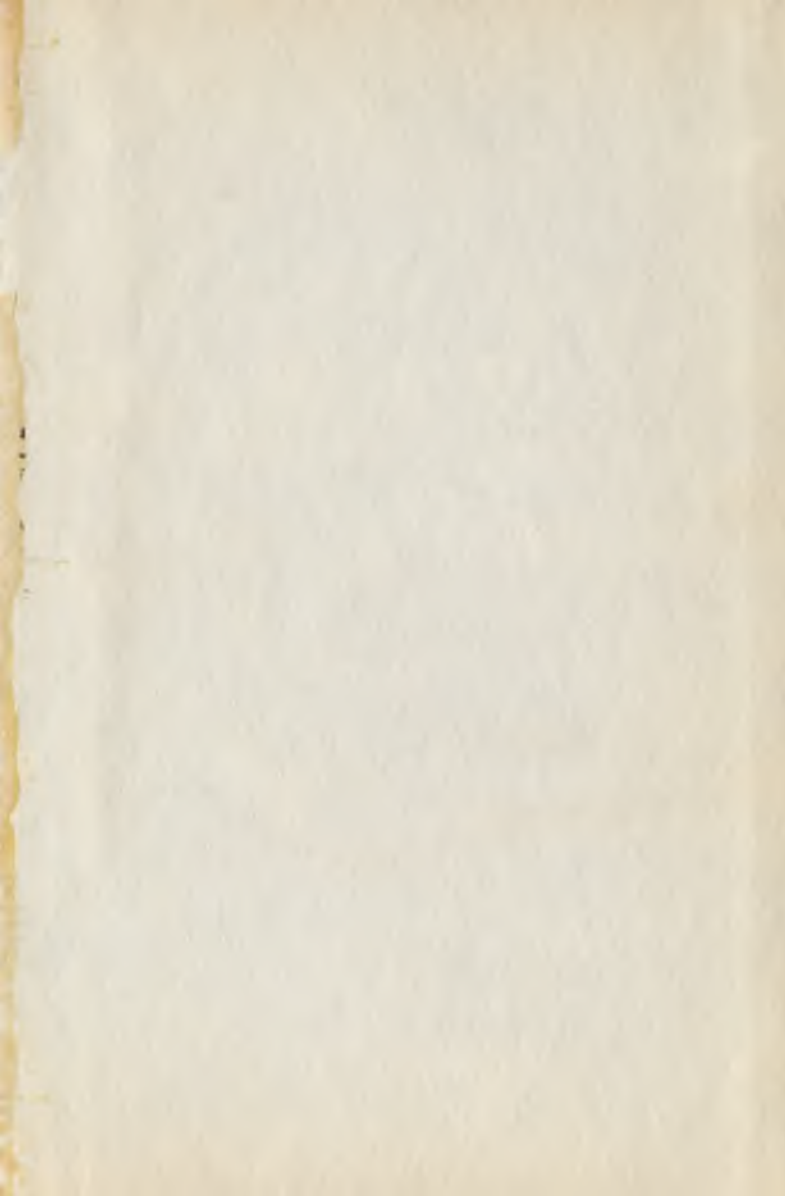
Сборник рассказов, стихов, очерков повествует о жизни Тюменского Севера, о молодых первопроходцах, о неповторимой красоте северного края, о той подлинной романтике, которую ищут на земле юные, смелые и мужественные люди.

В 70500—077  
М158(03)—78

С62

## **К ЧИТАТЕЛЮ**

Возможно, что-то из прочитанного в этой книге окажется близким, созвучным вашей душе или схожим с вашей судьбой, а с чем-то вы не согласны... Хотелось бы узнать ваше мнение, и мы были бы рады вашему письму, присланному по адресу: Свердловск, ул. Малышева, 24, Средне-Уральское книжное издательство.





卷

50 коп.

Свердловск  
Средне-Уральское  
книжное  
издательство  
1978